

ПРОСПЕР МЕРИМЕ

ХРОНИКА ВРЕМЕН КАРЛА IX

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Хроника времен Карла IX
Проспер Мериме

Аннотация
Проспер Мериме. Хроника времен Карла IX
Предисловие
I. Рейтары
II. На следующий день после пирушки
III. Придворная молодежь
IV. Обращенный
V. Проповедь
VI. Глава партии
VII. Глава партии
VIII. Диалог между читателем и автором
IX. Перчатка
X. Охота
XI. Заправский дуэлист из Пре-о-Клер
XII. Белая магия
XIII. Клевета
XIV. Свидание
XV. Темнота
XVI. Признание
XVII. Личная аудиенция
XVIII. Обращаемый
XIX. Францисканец

XX. Легкая кавалерия
XXI. Последнее усилие
XXII. Двадцать четвертое августа
XXIII. Два монаха
XXIV. Осада Ла-Рошели
XXV. Ла-Ну
XXVI. Вылазка
XXVII. Лазарет

Аннотация

«Хроника времен Карла IX» – знаменитый исторический роман Проспера Мериме, переносящий читателя во Францию XVI века – страну, раздираемую религиозными войнами. На фоне кровавого противостояния католиков и гугенотов разворачивается трагическая история двух братьев – Бернара и Жоржа де Мержи, оказавшихся по разные стороны баррикад. Мериме, известный своим лаконичным стилем и тонкой иронией, мастерски изображает нравы эпохи: фанатизм и интриги, дуэли и придворные заговоры, кульминацией которых становится Варфоломеевская ночь.

Проспер Мериме
Хроника времен Карла IX

Mérimée Prosper
Chronique du règne de Charles IX

© ООО «Издательство АСТ», 2025

* * *

Предисловие

Я только что прочел довольно большое количество мемуаров и памфлетов, касающихся конца XVI века. Мне захотелось сделать выдержки из прочитанного. Эти выдержки и составляют эту книгу.

В истории я люблю только анекдоты, среди анекдотов же предпочитаю те, в которых, представляется мне, есть подлинное изображение нравов и характеров данной эпохи. Подобное пристрастие не очень благородно, но должен признаться, к своему стыду, что я охотно бы отдал Фукидида за подлинные мемуары Аспазии или какого-нибудь Периклова раба, — ибо только мемуары, которые представляют собой задушевное собеседование автора с читателями, дают нам то изображение *человека,* которое интересует и занимает меня. Совсем не у Мезре, а у Монлюка, Брантома, д'Обинье, Таванна, Ла-Ну черпаем мы свое понятие о *французах* XV века. Стиль этих авторов так же показателен для их времени, как и их повествование.

Например, я читаю у Этуаля следующую крат-

кую заметку: «Девица де Шатонеф, одна из милочек короля, до его отъезда в Польшу, выйдя по любовной прихоти замуж за флорентинца Антинотти, капитана галер в Марселе, и найдя его распутничающим, убила его, как мужчина, собственными руками».

По этому анекдоту и по стольким другим, которыми полон Брантом, я воссоздаю в уме своем некий характер, и передо мной воскресает придворная дама эпохи Генриха III.

Любопытно, думается мне, сравнить эти нравы с нашими и проследить, как выродились энергичные страсти в наши дни и заменились бóльшим спокойствием, может быть — счастьем. Остается открытым вопрос, лучше ли мы наших предков, но решить его не так легко, ибо взгляды на одни и те же действия с течением времени очень изменились.

Так, например, убийство или отравление около 1500 года не внушали такого ужаса, какой они внушают теперь. Дворянин предательски убивал своего врага, просил помилования, получал его и снова появлялся в обществе, и никому не приходило в голову отворачиваться от него. Случалось даже — если убийство было вызвано чувством законной мести, — что об убийце говорили как

теперь говорят о порядочном человеке, который убил бы на дуэли нахала, жестоко его оскорбившего.

Мне кажется, таким образом, очевидным, что поступки людей XVI века не следует судить с точки зрения понятий XIX века. То, что в государстве с усовершенствованной цивилизацией считается преступлением, в государстве с менее передовой цивилизацией рассматривается только как признак смелости, а в варварские времена может сойти за похвальный поступок. Суждение *об одном и том же поступке,* как видно, должно видоизменяться *сообразно стране,* так как между народностями существует такая же разница, как между одним столетием и другим[1].

Мехмет-Али, у которого мамелюкские беи оспаривали власть над Египтом, однажды приглашает к себе во дворец на праздник главных начальников этого войска. Как только они входят во внутренний двор, ворота за ними затворяются. Скрытые на верхних террасах албанцы расстреливают их, и отныне Мехмет-Али — еди-

---

[1] Примечания: 1

Не следует ли распространить это правило и на отдельные личности? Одинаково ли виновен сын вора, занимающийся воровством, и воспитанный человек, объявляющий себя злостным банкротом? — *Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, — примечания автора.*

ноличный владелец Египта.

И что же: мы заключаем с Мехметом-Али договоры; он пользуется даже уважением среди европейцев, и все газеты видят в нем великого человека; его именуют благодетелем Египта. А между тем что может быть ужаснее обдуманного убийства беззащитных людей. Но, по правде сказать, подобные западни узаконены местными обычаями и невозможностью выйти из положения другим способом. Вот где можно применить изречение Фигаро: «Ma, per Dio, l'utilità»[2].

Если бы у некоего министра, фамилии которого я не назову, нашлись под рукой албанцы, готовые расстреливать по его приказу, и если бы на одном из парадных обедов он укокошил выдающихся членов левой партии, то *фактически* его поступок был бы таким же, как поступок египетского паши, но *этически* — во сто раз преступнее. Убийство не в наших нравах. Но вышеупомянутый министр сместил многих либеральных выборщиков, мелких чиновников министерства, запугал других и таким способом добился выборов по своему вкусу. Если бы Мехмет-Али был министром во Франции, он ограничился бы тем же самым; и

---

[2] Примечания: 2

«А польза, черт возьми!» (*ит.)*

нет сомнения, что французский министр, перенесенный в Египет, принужден был бы прибегнуть к расстрелу, так как увольнения не могли бы произвести на нравственное состояние мамелюков достаточного впечатления[3].

Варфоломеевская ночь была даже для своего времени большим преступлением; но, повторяю, массовое избиение в XVI веке совсем не такое же преступление, как избиение в XIX столетии. Прибавим еще, что бóльшая часть нации принимала в этом участие непосредственным действием или сочувствием: она вооружилась для преследования гугенотов, на которых смотрела как на чужеземцев и врагов.

Варфоломеевская ночь была как бы национальным восстанием, вроде испанского восстания 1809 года, и парижские горожане, умерщвляя еретиков, твердо верили, что повинуются голосу неба.

Простому рассказчику, как я, не пристало давать в этом томе точное изложение исторических событий 1572 года; но раз я заговорил о Варфоломеевской ночи, я не могу удержаться, чтоб не привести здесь нескольких мыслей, пришедших

---

[3] Примечания: 3
Предисловие это было написано в 1829 г.

мне в голову при чтении этой кровавой страницы нашей истории.

Хорошо ли поняты причины, вызвавшие это избиение? Было ли оно задолго обдуманным или же явилось следствием решения внезапного и даже случайного?

На все эти вопросы ни один историк не дает мне удовлетворительного ответа.

В качестве доказательств они используют городские слухи и предполагаемые разговоры, обладающие весьма малой ценностью, когда дело идет о разрешении столь важного исторического вопроса.

Одни делают Карла IX чудовищем двуличности; другие изображают его человеком угрюмым, сумасбродным и нетерпеливым. Если он разражается угрозами против гугенотов задолго до 24 августа… это служит доказательством, что он издавна готовил им разгром; если он их ласкает… это — доказательство его двуличности.

Я хочу напомнить об одной лишь истории, которая приводится везде и которая доказывает, с какой легкостью доверяют самым невероятным слухам.

Говорят, что приблизительно за год до Варфоломеевской ночи был уже составлен план

избиения. Вот этот план. В Пре-о-Клер предполагали деревянную башню; внутри ее собрались поместить герцога Гиза с дворянами и солдатами из католиков, а адмирал с протестантами должны были произвести примерную атаку, как будто для того, чтобы доставить королю зрелище примерной осады. В разгар этого в своем роде турнира по данному сигналу католики должны были зарядить свои ружья и убить врагов раньше, чем те поспели бы приготовиться к защите. Чтобы разукрасить эту историю, прибавляют, что фаворит Карла IX, по фамилии Линьероль, будто бы нескромно выдал весь этот заговор, сказав королю, когда тот поносил протестантских вельмож: «Ах, ваше величество, погодите, будет у нас крепостная башня, которая отомстит за нас всем еретикам». (Заметьте, прошу вас, что для этой крепости ни одна доска еще не была поставлена.) Король позаботился лишить жизни этого болтуна. Говорят, что план этот изобретен был канцлером Бирагом, в уста которого между тем влагают следующие слова, свидетельствующие о совершенно противоположных намерениях; что «для освобождения короля от его недругов ему требуется только несколько поваров». Последнее средство было гораздо удобоисполнимее, чем пер-

вое, экстравагантность которого делала его почти неосуществимым. И действительно, неужели у протестантов не возникло бы подозрения относительно приготовлений к такой примерной войне, где столкнулись бы обе партии, недавно еще враждебные друг другу? Наконец, собрать гугенотов воедино и вооружить их — было бы плохим средством для того, чтобы купить их гибель дешевой ценой. Очевидно, что, если бы в то время задумали их всех уничтожить, было бы лучше напасть на каждого в отдельности и на безоружных.

Что касается меня, я твердо убежден, что избиение не было заранее обдумано, и не могу постигнуть, как склоняются к противоположному мнению авторы, в то же время единодушно считающие Катерину женщиной, правда, очень злой, но одним из глубочайших политических умов своего времени.

Отложим временно в сторону мораль и рассмотрим этот предполагаемый план с точки зрения его полезности. Я утверждаю, что он не был полезен двору и, кроме того, был приведен в исполнение с такой неловкостью, которая заставляет предполагать, что составители этого плана были людьми самыми сумасбродными на свете.

Рассмотрим, должна ли была королевская власть выиграть или проиграть от такого плана и в ее ли интересах было допускать подобное исполнение.

Франция была разделена на три большие партии: на партию протестантов, во главе которой после смерти принца Конде стоял адмирал, на королевскую партию, самую слабую, и на партию Гизов, тогдашних крайних роялистов.

Очевидно, что король, имевший одинаковые основания опасаться как Гизов, так и протестантов, должен был бы для сохранения своей власти стараться, чтобы обе эти стороны находились в состоянии вражды. Уничтожить одну из них — значило отдать себя на благоусмотрение другой.

Система политических качелей уже тогда была отлично известна и применялась на практике. Ведь изречение «разделять, чтобы царствовать» принадлежит Людовику XI.

Теперь посмотрим, какова была набожность Карла IX, так как излишняя набожность могла бы побудить его к мероприятиям, расходившимся с его выгодой. Но все, наоборот, указывает на то, что, не будучи свободомыслящим, он тем не менее не был фанатиком; к тому же и мать его, которая им руководила, никогда не поколебалась

бы пожертвовать своими религиозными убеждениями, если только они у нее были, в пользу властолюбия[4].

Но предположим, что Карл, или его мать, или, если угодно, его правительство решили, вопреки всем правилам политики, извести во Франции протестантов; если бы они пришли к такому решению, вероятно, они зрело обдумали бы средства, наиболее способные обеспечить им успех в этом деле. В таком случае первое, что приходит в голову как самое верное средство, это то, чтобы избиения происходили по всем городам королевства одновременно, и реформаты, таким образом, подвергнувшись повсюду нападению со стороны численно превосходящей[5] их силы, были бы лишены возможности защищаться где бы то ни было. Чтобы истребить их, достаточно было бы

---

[4] Примечания: 4

Приводят как доказательство глубокой двуличности Карла IX одну его фразу, которая, по-моему, представляет только грубую выходку человека, совершенно равнодушного к религиозным вопросам. Папа всячески задерживает разрешение на брак Маргариты де Валуа, сестры Карла IX, с Генрихом IV, в то время протестантом. Король сказал: «Пусть святой отец откажет! Я возьму сестрицу Марготон под руку и выдам ее замуж в протестантской кирке».

[5] Примечания: 5

Население Франции тогда равнялось приблизительно двадцати миллионам. Считается, что ко времени второй гражданской войны протестантов насчитывалось не более полутора миллионов, но у них было пропорционально больше денег, солдат и генералов.

одного дня. Таким именно образом Ассур некогда задумал избиение евреев.

Между тем мы читаем, что первые королевские приказы об избиении протестантов получены 22 августа, т. е. четырьмя днями позднее Варфоломеевской ночи, так что известия об этой бойне должны были предупредить королевские депеши и встревожить всех людей, заинтересованных в делах религии.

Главным образом необходимо было овладеть укрепленными местами протестантов. Пока они находились в их руках, королевская власть не была достаточно прочной. Таким образом, если предположить существование католического заговора, станет очевидным, что одним из главнейших мероприятий должен был быть захват Ла-Рошели 24 августа и в то же время наличие войска на юге Франции, чтобы воспрепятствовать соединению реформатов[6].

Ничего этого сделано не было.

Я не могу допустить, чтобы одни и те же люди, которые смогли задумать преступный план, чреватый столь важными последствиями, так плохо

---

[6] Примечания: 6

Во время второй гражданской войны протестанты в один и тот же день врасплох завладели больше чем половиной укрепленных мест Франции. Католики могли сделать то же самое.

привели его в исполнение. Действительно, принятые меры были столь недейственны, что через несколько месяцев после Варфоломеевской ночи война заново разгорелась, причем реформаты не только покрыли себя славой, но и извлекли новые выгоды.

Наконец, убийство Колиньи, происшедшее за два дня до Варфоломеевской ночи, не окончательно ли опровергает предположение о заговоре? Зачем убивать главу раньше всеобщего избиения? Не было ли это средством вспугнуть гугенотов и заставить их быть настороже?

Я знаю, что некоторые авторы приписывают единолично герцогу Гизу покушение на особу адмирала; но, помимо того что общественное мнение обвиняло в этом преступлении[7] короля и что убийца получил награду *от короля*, я из этого факта извлек бы новый аргумент против существования заговора. И действительно, если бы таковой существовал, герцог Гиз обязательно принимал бы в нем участие; тогда почему не отложить на два дня родовую месть, чтобы сделать ее более верной? Зачем подвергать риску успех всего предприятия только из-за надежды

---

[7] Примечания: 7
Морвель был прозван «королевским убийцей». Смотри Брантома.

ускорить на два дня смерть врага?

Итак, все, на мой взгляд, доказывает, что это массовое избиение не было результатом заговора короля против части своего народа. Варфоломеевская ночь представляется мне актом народного восстания, которого нельзя было предвидеть и которое разразилось внезапно.

Со всей скромностью попытаюсь предложить свое решение загадки.

Колиньи трижды договаривался со своим государем, как равноправная власть с другой властью; одно это уже могло возбудить ненависть. По смерти Жанны д'Альбре оба юных принца — и король Наваррский, и принц де Конде — были слишком молоды, так что на деле Колиньи единолично возглавлял реформатскую партию. После его смерти принцы, находясь посреди враждебного лагеря, оказались как бы пленниками и зависели от благоусмотрения короля. Итак, смерть Колиньи, и только одного Колиньи, была важна для укрепления власти Карла IX, который, быть может, не забыл изречения герцога Альбы: «Одна голова семги стоит больше, чем десять тысяч лягушек».

Но если бы одним ударом король освобождался и от адмирала, и от герцога Гиза — очевидно, он

становился бы неограниченным владыкой.

Он должен был бы предпринять следующее, а именно: поручить или по крайней мере приписать убийство адмирала герцогу Гизу, потом начать преследование против этого принца как против убийцы, объявив, что он готов выдать его с головой гугенотам. Известно, что герцог Гиз, виновный или нет в покушении Морвеля, со всей поспешностью покинул Париж, и реформаты, которым король для видимости покровительствовал, разразились угрозами против принцев Лотарингского дома.

Парижский народ в эту эпоху был до крайности фанатичен. Горожане, организованные на военный лад, образовали нечто вроде национальной гвардии и могли при первом ударе набата выступить в бой. Насколько герцог Гиз был любим парижанами в память об отце и по собственным заслугам, настолько гугеноты, дважды осаждавшие их, были им ненавистны. Известная милость, которой эти последние пользовались при дворе, когда одна из сестер короля вышла замуж за единоверного им принца, удвоила их заносчивость и ненависть против них врагов. Одним словом, достаточно было бы стать кому-нибудь во главе этих фанатиков и крикнуть «Бей!», чтобы они

бросились резать своих еретических соотечественников.

Удаленный от двора, находясь в опасности и со стороны короля, и со стороны принцев, герцог принужден был опереться на народ. Он собирает начальников городской гвардии, говорит, что еретики составили заговор, убеждает истребить их, пока они не привели своих замыслов в исполнение, — и *только* после этого появляется мысль о резне. Таинственность, сопровождавшая заговор, и то обстоятельство, что такое большое количество людей так хорошо сохранило секрет, объясняются тем, что между замыслом и исполнением протекло всего несколько часов. Странно, если бы было иначе, так как «*в Париже интимные признания идут быстрым ходом*»[8].

Трудно определить, какое участие принимал король в этом избиении: если он его не одобрил — во всяком случае, он его допустил. Через два дня после убийств и насилия он ото всего отперся и захотел остановить бойню[9], но народной ярости была дана свобода, и небольшое количество кро-

---

[8] Примечания: 8
Слова Наполеона.

[9] Примечания: 9
Он приписывал убийство Колиньи и массовое избиение герцогу Гизу и принцам Лотарингского дома.

ви не в силах было ее успокоить. Она нуждалась в шестидесяти тысячах жертв. Монарх принужден был отдаться течению, которое влекло его за собой. Он отменил приказ о помиловании и вскоре издал другой, распространивший убийство по всей Франции.

Таково мое мнение о Варфоломеевской ночи, и, предлагая его вниманию читателя, я повторю вместе с лордом Байроном:

«I only say, suppose this supposition». D. Juan, canto I, st. LXXXV[10].

1829 г.

[10] Примечания: 10

«Я говорю лишь — предположим это» («Дон Жуан», песнь I, строфа LXXXV) (*англ.*).

I. Рейтары

The black bands came over
The Alps and their snow,
With Bourbon the rover
They passed the broad Po.

Отряд по обвалам
Альпийским прошел,
С Бурбоном удалым
Он По перешел.

Байрон. Преображенный урод

Недалеко от Этампа, если ехать в сторону Парижа, еще и поныне можно видеть большое квадратное здание со стрельчатыми окнами, украшенное несколькими грубыми изваяниями. Над входом находится ниша, где в прежние времена стояла Мадонна из камня; но во время революции ее постигла та же участь, что и многих святых обоего пола, — она торжественно была разбита на куски председателем революционного клуба в Ларси. Впоследствии на ее место поставили другую Деву Марию, правда из гипса, но имеющую благодаря шелковым лоскуткам и стеклянным бусам довольно хороший вид и

придающую почтенную внешность кабачку Клода Жиро.

Больше двухсот лет тому назад, а именно — в 1572 году, здание это, как и теперь, служило приютом для жаждущих путников; но тогда у него была совсем другая внешность. Стены были покрыты надписями, свидетельствовавшими о различных этапах гражданской войны. Рядом со словами: *«Да здравствует принц!»*[11] — можно было прочитать: *«Да здравствует герцог Гиз! Смерть гугенотам!»* Немного далее какой-то солдат нарисовал углем виселицу с повешенным и, дабы не было ошибки, внизу прибавил надпись: «Гаспар де Шатильон». Но, по-видимому, спустя некоторое время местностью овладели протестанты, так как имя их вождя было стерто и заменено именем герцога Гиза. Другие надписи, полустертые, которые довольно трудно было разобрать и еще труднее передать в приличных выражениях, доказывали, что короля и его мать щадили не более, чем вождей партии. Но больше всех пострадала, казалось, от гражданских и религиозных расправ несчастная Мадонна. Местах в двадцати на статуе были сле-

---

[11] Примечания: 11
Принц Конде.

ды от пуль, свидетельствующие, как ревностно гугенотские солдаты старались разрушить то, что они называли «языческими идолами». Если каждый набожный католик снимал почтительно головной убор, проходя мимо статуи, то каждый протестантский всадник считал долгом выстрелить в нее из аркебузы и, попав, чувствовал такое же удовлетворение, как если бы сразил апокалиптического зверя и ниспроверг язычество.

В течение уже нескольких месяцев между враждующими разноверцами был заключен мирный договор; но клятвы были произнесены устами, а не сердцем. Враждебность между обеими партиями продолжала существовать с прежней непримиримостью. Все говорило, что война едва прекратилась, все возвещало, что мир не может быть длителен.

Гостиница «Золотого льва» была наполнена солдатами. По иностранному выговору, по странной одежде в них можно было признать немецких конников, так называемых *рейтаров*[12], которые являлись предлагать свои услуги протестантской партии, особенно когда та была в состоянии хорошо их оплачивать. Если лов-

---

[12] Примечания: 12
Искаженное немецкое слово Reiter — всадник.

кость этих чужеземцев в управлении лошадьми и их искусство в обращении с огнестрельным оружием делали их грозными в час сражения, то, с другой стороны, они пользовались славой, может быть еще более заслуженной, отчаянных грабителей и беспощадных победителей. Отряд, расположившийся в гостинице, состоял из полусотни конных; они выехали из Парижа накануне и направлялись в Орлеан, чтобы остаться там гарнизоном.

Покуда одни чистили лошадей, привязанных к стене, другие разводили огонь, поворачивали вертела и занимались стряпней. Несчастный хозяин гостиницы, с шапкой в руках и слезами на глазах, смотрел на беспорядок, произведенный в его кухне. Он видел, что курятник опустошен, погреб разграблен, а у бутылок прямо отбивают горлышки, не откупоривая; к довершению несчастья ему было хорошо известно, что, несмотря на строгие приказы короля относительно военной дисциплины, ему нечего было ждать возмещения убытков со стороны тех, кто обращался с ним как с неприятелем. В эти злосчастные времена общепризнанной истиной было то, что войско в походе жило всегда за счет обитателей тех местностей, где оно находилось.

За дубовым столом, потемневшим от жира и копоти, сидел капитан рейтаров. Это был высокий, полный человек, лет под пятьдесят, с орлиным носом, воспаленным цветом лица, редкими седоватыми волосами, плохо прикрывавшими широкий шрам, начинавшийся от левого уха и терявшийся в густых усах. Он снял свою кирасу и каску и оставался в одном камзоле из венгерской кожи, который был вытерт дочерна вооружением и тщательно заплатан во многих местах. Сабля и пистолеты лежали на скамейке у него под рукой; он все-таки сохранил при себе широкий кинжал — оружие, с которым благоразумный человек расставался, только ложась спать.

По левую руку от него сидел молодой человек, с ярким румянцем, высокий и довольно стройный. Камзол у него был вышит, и вообще во всем костюме заметна была большая изысканность, чем у товарища. Тем не менее он был всего только корнетом при капитане.

Компанию с ними разделяли две молодые женщины, лет по двадцати — двадцати пяти, сидевшие за тем же столом. В их платьях, сшитых не по них и, по-видимому, попавших в их руки как военная добыча, сочетались нищета и роскошь. На одной был надет лиф из твердого шелка,

затканного золотом, совершенно потускневшим, и простая холщовая юбка, на другой — роба из лилового бархата и мужская шляпа из серого фетра, украшенная петушиным пером. Обе были недурны собой; но по их смелым взглядам и вольным речам чувствовалось, что они привыкли жить среди солдат. Из Германии они выехали без определенных занятий. Женщина в лиловом бархате была цыганкой; она умела гадать по картам и играть на мандолине. Другая была сведуща в хирургии и, по-видимому, пользовалась преимущественным уважением корнета.

Перед каждым из четырех стояло по большой бутылке и по стакану; они болтали и пили в ожидании обеда.

Разговор уже истощался, как вдруг перед входом в гостиницу остановил свою хорошую рыжую лошадь молодой человек высокого роста, довольно элегантно одетый. Рейтарский трубач поднялся со скамейки, на которой сидел, и, подойдя к незнакомцу, взял его лошадь под уздцы. Незнакомец счел это за доказательство вежливости и хотел уже поблагодарить; но он сейчас же понял свою ошибку, так как трубач открыл лошади морду и глазом знатока осмотрел ей зубы; потом отошел и, со стороны оглядев ноги

и круп благородного животного, покачал головой с удовлетворенным видом.

— Прекрасная лошадь, сударь, на которой вы приехали! — сказал он на ломаном французском языке и прибавил еще несколько слов по-немецки, возбудивших смех среди его товарищей, к которым он тотчас опять вернулся.

Этот бесцеремонный осмотр пришелся не по вкусу путешественнику, но он ограничился тем, что бросил презрительный взгляд на трубача и соскочил на землю без посторонней помощи.

Тут вышел из дому хозяин, почтительно принял у него из рук уздечку и сказал ему шепотом на ухо, чтобы рейтарам не было слышно:

— Бог в помощь, молодой барин, но не в добрый час вы приехали. Компания этих нехристей (чтоб святой Христофор свернул им шею) не очень-то приятна для добрых христиан, как мы с вами.

Молодой человек горько улыбнулся.

— Эти господа — протестантская кавалерия? — сказал он.

— К тому же рейтары! — подхватил трактирщик. — Накажи их, Мать Богородица! Только час здесь пробыли, а половину вещей у меня переломали. Такие же бессовестные грабители, как и коновод их, де Шатильон, чертов адмирал.

— До седых волос вы дожили, — ответил молодой человек, — а ума не нажили. А вдруг вы говорите с протестантом и он ответит вам здоровой затрещиной? — Говоря это, он постегивал по своим сапогам из белой кожи хлыстом, которым он погонял лошадь.

— Как!.. Что?.. Вы — гугенот?! Протестант, хотел я сказать, — восклицал изумленный трактирщик.

Он отступил на шаг и осмотрел незнакомца с головы до ног, словно ища в его костюме какого-нибудь признака, по которому можно было бы различить, какую религию он исповедует. Этот осмотр и открытое, смеющееся лицо молодого человека понемногу его успокоили, и он снова начал, еще тише:

— Протестант в зеленом бархатном платье! Протестант в испанских брыжах! Нет, это невозможно! Нет, барин, такого удальства не видать у еретиков, Пресвятая Мария! Камзол из тонкого бархата — жирно будет для этих оборванцев!

Хлыст сейчас же свистнул и, ударив бедного трактирщика по щеке, послужил как бы символом веры его собеседника.

— Болтун нахальный! Учись держать язык за зубами! Ну, веди лошадь на конюшню, и чтоб

всего там было ей вволю!

Трактирщик, опустив печально голову, повел лошадь в какой-то сарай, ворча про себя проклятья и немецким, и французским еретикам, и, если бы молодой человек не пошел за ним следом посмотреть, какой уход будет за его лошадью, несомненно, бедное животное в качестве еретического оставлено было бы на ночь без корма.

Приезжий вошел в кухню и приветствовал собравшихся там, грациозно приподняв большую широкополую шляпу, оттененную желто-черным пером. Капитан ответил ему на поклон, и некоторое время оба молча смотрели друг на друга.

— Капитан, — сказал приезжий молодой человек, — я дворянин из протестантов, и я рад встретить здесь собратьев по вере. Если вы ничего не имеете против, мы поужинаем вместе.

Вежливое обращение и элегантное платье приезжего расположили капитана в его пользу, и он ответил, что тот ему оказывает честь. Молодая цыганка Мила, о которой мы упоминали, поспешила очистить ему место на скамейке возле себя. И, будучи от природы услужливой, она даже дала ему свой стакан, который капитан сейчас же и наполнил.

— Меня зовут Дитрих Горнштейн, — сказал

капитан, чокаясь с молодым человеком. — Вы, конечно, слышали о капитане Дитрихе Горнштейне. Это я водил «потерянных детей» в бой при Дрё, а затем при Арне-ле-Дюк.

Приезжий понял, что окольным путем у него спрашивают, как его зовут; он ответил:

— К сожалению, я не могу назвать такого же знаменитого имени, как ваше, капитан; я имею в виду себя, потому что имя моего отца достаточно сделалось известным за нашу гражданскую войну. Меня зовут Бернар де Мержи.

— Кому вы называете эту фамилию! — воскликнул капитан, наполняя свой стакан до краев. — Я знавал вашего батюшку, господина Бернара де Мержи! С первой, гражданской войны я знал его, как знают близкого друга. За его здоровье, господин Бернар!

Капитан протянул свой стакан и сказал отряду несколько слов по-немецки. Как только он поднес вино к губам, все его кавалеристы с криком подбросили свои шапки в воздух. Трактирщик, думая, что это сигнал к избиению, бросился на колени. Самого Бернара несколько удивило это необыкновенное доказательство уважения; тем не менее он счел за долг, в ответ на эту немецкую вежливость, выпить за здоровье капитана.

Бутылки до его прихода понесли уже сильный урон, так что на новый тост вина не хватило.

— Вставай, святоша! — сказал капитан, повернувшись к трактирщику, продолжавшему стоять на коленях. — Вставай и иди за вином. Разве не видишь, что бутылки пусты?

В виде наглядного доказательства корнет запустил ему в голову одной из бутылок. Трактирщик побежал в подвал.

— Человек этот отъявленный нахал, — сказал де Мержи, — но если бы бутылка попала, вы могли бы причинить ему больше вреда, чем сами хотели.

— Вздор! — ответил корнет, громко расхохотавшись.

— Голова паписта крепче этой бутылки, хотя и пустее ее, — заметила Мила.

Корнет расхохотался еще громче; все последовали его примеру, даже Мержи, хотя улыбка на устах последнего была вызвана скорее хорошеньким ртом цыганки, чем ее жестокой остротой.

Принесли вина, затем подали ужин, и после некоторого молчания капитан снова начал с набитым ртом:

— Знавал ли я господина де Мержи! Он был полковником в пехоте начиная с первого похода

принца. Два месяца подряд, во время осады Орлеана, мы стояли с ним в одном помещении… А как теперь его здоровье?

— Для его преклонных лет, слава Богу, недурно. Он часто рассказывал мне о рейтарах и об их лихих атаках во время боя при Дрё.

— Я знал и старшего его сына… вашего брата… капитана Жоржа. Я хочу сказать, до его…

Мержи казался смущенным.

— Это был храбрец неустрашимый, — продолжал капитан, — но, черт возьми, горячая голова! Мне было очень досадно за вашего батюшку: его отступничество немало должно было причинить ему горя.

Мержи покраснел до корней волос; он что-то пробормотал в оправдание своему брату, но легко можно было заметить, что он осуждает его еще строже, чем капитан рейтаров.

— Ах, как видно, вам это неприятно, — сказал капитан, — ну, так не будем больше говорить об этом. Это потеря для религии и большое приобретение для короля, который, говорят, держит его в большом почете.

— Вы пришли из Парижа, — прервал его Мержи, стараясь перевести разговор на другую тему, — господин адмирал уже прибыл? Вы его видели,

конечно? Как он теперь себя чувствует?

— Он возвратился из Блуа вместе с двором, когда мы выступали. Прекрасно себя чувствует, свеж и бодр. Он еще двадцать гражданских войн отхватает, миляга. Его величество обращается с ним так внимательно, что все паписты лопаются с досады.

— Да и правда! Королю никогда вполне не отплатить ему за его доблесть.

— Как раз еще вчера я видел, как на луврской лестнице король пожимал руку адмиралу. У господина де Гиза, что шел позади них, был жалкий вид побитой собаки; а мне — знаете, что мне пришло в голову? Мне казалось, будто дрессировщик показывает льва на ярмарке: заставляет его подавать лапу, как собачки делают; но, хоть парень и не моргнет и виду не показывает, однако ни на минуту не забывает, что у лапы, которую он держит, страшные когти. Да, провалиться мне на месте, всякий бы сказал, что король чувствует адмиральские когти!

— У адмирала длинная рука, — сказал корнет. (Это выражение ходило как поговорка в протестантском войске.)

— Для своих лет он очень видный мужчина, — заметила Мила.

— Я предпочла бы иметь любовником его, нежели какого-нибудь молодого паписта! — подхватила Трудхен, подруга корнета.

— Это — столп веры! — произнес Мержи, чтобы тоже принять участие в восхвалениях.

— Да, но он чертовски строг в вопросах дисциплины, — сказал капитан, покачав головой.

Корнет многозначительно подмигнул, и его толстая физиономия сморщилась в гримасу, которую он считал улыбкой.

— Не ожидал, — сказал Мержи, — от такого старого солдата, как вы, капитан, упреков господину адмиралу за точное соблюдение дисциплины, которого он требует в своих войсках.

— Да, спору нет, дисциплина нужна; но, в конце концов, нужно и то принять в расчет, сколько солдату приходится переносить невзгод, и не запрещать ему хорошо провести время, когда случайно это ему удается. Ну, что же? У всякого человека есть свои недостатки, и хотя он приказал меня повесить — выпьем за здоровье адмирала.

— Адмирал приказал вас повесить? — воскликнул Мержи. — Но для повешенного вы очень бодры.

— Да, черта с два! Он приказал меня повесить, но я не злопамятен — и выпьем за его здоровье.

Раньше чем Мержи успел возобновить свои вопросы, капитан налил всем стаканы, снял шляпу и велел своим кавалеристам троекратно прокричать ура. Когда стаканы были опорожнены и шум стих, Мержи снова начал:

— За что же вы были повешены, капитан?

— За пустяк! Разграблен был монастыришко в Сент-Онже, потом случайно сгорел.

— Да, но не все монахи оттуда вышли, — прервал его корнет, хохоча во все горло над своей остротой.

— Э! Что за важность, когда сгорят подобные канальи — немного раньше, немного позже. А адмирал между тем, поверите ли, господин де Мержи, адмирал всерьез рассердился; он велел меня арестовать, и великий профос наложил на меня руку без дальних околичностей. Тогда все приближенные его, дворяне и вельможи, вплоть до господина Ла-Ну, не отличающегося, как известно, особой нежностью к солдатам (Ла-Ну, как передают, всегда говорит «ну!» и никогда «тпру!»), все капитаны просили о моем помиловании, но он отказал наотрез! Всю зубочистку изжевал от ярости, а вы знаете поговорку: «Боже, избави нас от “Отче наш” господина де Монморанси и от зубочистки господина адмирала». «Мародер-

щину, — сказал он, — надо истреблять, прости Господи, пока она — девчонка, а если мы дадим ей вырасти в большую барыню, так она сама нас истребит». Тут пришел пастор с книжкой под мышкой, и нас ведут обоих под некий дуб… как теперь его вижу, — ветка вперед выдавалась, будто нарочно для этого выросла; на шею мне надевают веревку… всякий раз, как вспомню об этой веревке, так горло и пересохнет, словно трут…

— На, промочи, — сказала Мила и до краев наполнила стакан рассказчику.

Капитан залпом осушил его и продолжал следующим образом:

— Я уже смотрел на себя не более и не менее как на дубовый желудь, как вдруг мне пришло в голову сказать адмиралу: «Эх, монсеньор, мыслимо ли так вешать человека, который при Дрё командовал “потерянными детьми”?» Вижу, он выплюнул зубочистку, за другую принялся. Я думаю: «Прекрасно, хороший знак!» Подозвал он капитана Кормье и что-то тихонько ему сказал. Потом обращается к палачу: «Ну, вздернуть этого человека!» И тут отвернулся. Меня в самом деле вздернули, но славный капитан Кормье выхватил шпагу и сейчас же разрубил веревку, так что я упал со своей ветки, красный, как вареный рак.

— Поздравляю вас, — сказал Мержи, — что вы так дешево отделались. — Он внимательно стал вглядываться в капитана и, казалось, испытывал некоторое смущение оттого, что находится в обществе человека, по справедливости заслужившего повешения, но в те злосчастные времена преступления совершались так часто, что почти не было возможности относиться к ним с такой строгостью, с какой отнеслись бы теперь. Жестокости, с одной стороны, как бы оправдывали меры подавления, и религиозная ненависть заглушала почти всякое чувство национальной приязни. Притом же, если говорить правду, тайные знаки внимания со стороны Милы, которую он начинал находить очень хорошенькой, и винные пары, оказывавшие на его молодые мозги большее действие, чем на привычные головы рейтаров, — все это внушало ему в эту минуту исключительную снисходительность к его застольным товарищам.

— Я больше недели прятала капитана в крытой повозке, — сказала Мила, — и позволяла выходить только по ночам.

— А я приносила ему пить и есть, — подхватила Трудхен, — он сам подтвердит это.

— Адмирал сделал вид, что страшно рассердил-

ся на Кормье, но все это была условленная между ними комедия. Что касается меня, то я долго следовал за войском, не осмеливаясь показаться на глаза адмиралу. Наконец, при осаде Лоньяка, он натолкнулся в окопе на меня и говорит: «Дитрих, дружище, раз ты не повешен, так будь расстрелян!» — и показывает мне на брешь. Я понял, что он хочет сказать, храбро пошел на приступ, а на следующий день представился ему на главной улице, держа в руках простреленную шляпу. «Монсеньор, — говорю я ему, — расстрелян я так же, как и был повешен». Он улыбнулся и дал мне кошелек, прибавив: «Вот тебе на новую шляпу!» С тех пор мы сделались друзьями. Да, в Лоньяке… вот это был грабеж так грабеж! Вспомнить только — так слюнки потекут!

— Ах, какие чудные шелковые платья! — воскликнула Мила.

— Сколько прекрасного белья! — воскликнула Трудхен.

— Горячее было дело у монахинь главной обители! — сказал корнет. — Двести конных стрелков стали на постой к сотне монашенок!..

— Больше двадцати из них отступилось от папизма, — сказала Мила, — так по вкусу пришлись им гугеноты.

— Стоило там посмотреть на моих аргулетов[13], — воскликнул капитан, — идут поить лошадей, а сами в церковных ризах, овес кони ели на алтарях, а мы пивали славное церковное вино из серебряных причастных чаш!

Он повернул голову, чтобы еще потребовать вина, и увидел, что трактирщик сложил руки и поднял глаза к небу с выражением неописуемого ужаса.

— Дурак! — произнес храбрый Дитрих Горнштейн, пожимая плечами. — Можно ли быть таким глупым человеком, чтобы верить всем россказням, что болтают папистские попы! Знаете, господин де Мержи, в сражении при Монконтуре я убил из пистолета какого-то дворянчика из свиты герцога д'Анжу; снял с него камзол — и что ж, думаете вы, нахожу у него на животе? Большой кусок шелка, весь покрытый именами святых. Он считал, что это предохранит его от пуль. Черта с два! Я доказал ему, что нет такой ладанки, которую не просверлила бы протестантская пуля.

— Да, ладанки, — вмешался корнет, — но у меня на родине больше в ходу кусочки пергамента, защищающие от свинца и железа.

---

[13] Примечания: 13
Разведчики, легкие войска.

— Я предпочел бы хорошо выкованный стальной панцирь, — заметил Мержи, — вроде тех, что в Нидерландах выделывает Яков Лешо.

— Послушайте, — снова начал капитан, — нельзя отрицать, что невозможно сделать себя неуязвимым. Уверяю вас, я сам видел в Дрё одного дворянина, которому пуля угодила прямо в середину груди: он знал рецепт мази, которая делает неуязвимым, и натерся ею под нагрудником из буйволовой шкуры: так вот, даже черного и красного знака не видно было, что остается после контузии.

— А не думаете вы, что этого нагрудника из буйволовой шкуры, о котором вы упоминали, было бы достаточно, чтобы обезвредить удар пули?

— Уж такие эти французы, ничему не хотят верить! А что бы вы сказали, если бы, как я, видели, как один силезский латник положил руку на стол, и как ни тыкали в нее ножом, царапины не могли сделать? Вы смеетесь? Думаете, что это невозможно? Спросите вот у этой девушки, у Милы. Она из страны, где колдуны так же часто встречаются, как здесь монахи. Она умеет рассказывать страшные истории. Бывало, в длинные осенние вечера, когда под открытым небом усядемся мы у костра, так она такие приключения нам рассказывает,

что у меня волосы дыбом становятся.

— Я бы с восторгом послушал какую-нибудь из таких историй, — произнес Мержи, — красотка Мила, доставьте мне такое удовольствие.

— Да, правда, Мила, — поддержал капитан, — расскажи нам какую-нибудь историю, пока мы будем осушать эти бутылки.

— Ну, слушайте же! — сказала Мила. — А вы, молодой барин, который ни во что не верите, все ваши сомнения потрудитесь оставить при себе.

— Как можете вы говорить, что я ни во что не верю?! — ответил ей вполголоса Мержи. — Уверяю вас, я верю в то, что вы меня приворожили, я уже совершенно влюблен в вас.

Мила тихонько его оттолкнула, так как губы Мержи почти касались ее щеки; и, бросив направо и налево беглый взгляд, чтобы удостовериться, что все ее слушают, она начала следующим образом:

— Капитан, вы, конечно, бывали в Гамельне?..

— Никогда.

— А вы, корнет?

— Тоже никогда.

— Что же, тут никого нет, кто бывал бы в Гамельне?

— Я провел там год, — сказал, подходя, какой-то

кавалерист.

— Так видел ты, Фриц, гамельнский собор?

— Тысячу раз.

— И расписные окна в нем?

— Разумеется.

— А видел ты, что нарисовано на этих окнах?

— На этих окнах?.. На окне по левую сторону, по-моему, изображен высокий черный человек, он играет на флейте, а за ним бегут маленькие дети.

— Верно. Так вот, я вам и расскажу историю этого черного человека с маленькими детьми.

Много лет тому назад жители Гамельна страдали от неисчислимого множества крыс, которые шли с севера такими густыми стадами, что вся земля почернела от них и ямщики не осмеливались пересекать дорогу, по которой двигались эти крысы. Все было пожираемо в одну минуту, и съесть в амбаре бочку с зерном для этих крыс было таким же плевым делом, как для меня выпить стакан этого доброго вина.

Она выпила, утерлась и продолжала:

— Мышеловки, крысоловки, капканы, отрава — ничего не помогало. Из Бремена выписали баржу, нагруженную тысячью и сотней кошек, но ничего не действовало: тысячу истребят, десять

тысяч является еще более голодных, чем первые. Короче сказать, не приди избавление от этого бича, ни одного зерна не осталось бы в Гамельне, и все жители умерли бы с голоду. И вот, в одну прекрасную пятницу, к городскому бургомистру является высокий человек, смуглый, сухощавый, с большими глазами, рот до ушей, одет в красный камзол, остроконечную шляпу, широкие штаны с лентами, серые чулки и башмаки с бантиками огненного цвета. На боку был кожаный мешочек. Я как живого его вижу перед собой.

Все невольно повернули глаза к стене, на которую пристально смотрела Мила.

— Значит, вы его видели? — спросил Мержи.

— Не я, но моя бабушка; и она так хорошо помнила его внешность, что могла бы нарисовать портрет.

— И что же он сказал бургомистру?

— Он предложил ему за сто дукатов избавить город от постигшей его беды. Само собой разумеется, что бургомистр и горожане сейчас же ударили по рукам. Тогда пришедший человек вынул из своей сумки бронзовую флейту и, встав на базарной площади перед собором, — но, заметьте, повернувшись к нему спиной, — начал играть такую странную мелодию, какой никогда не иг-

рал ни один немецкий флейтист. И вот, услышав эту мелодию, крысы и мыши из всех амбаров, из норок, из-под стропил, из-под черепиц на крышах сотнями, тысячами сбежались к нему. Незнакомец стал направляться к Везеру, все время продолжая играть на флейте; там он снял штаны и вошел в воду, а за ним и все гамельнские крысы, которые сейчас же и потонули. Во всем городе осталась одна только крыса, и вы сейчас увидите почему. Колдун — ведь он был колдун — спросил у одной отставшей крысы, которая еще не вошла в Везер: «А почему Клаус, седая крыса, еще не явилась?» — «Сударь, — ответила крыса, — она так стара, что не может ходить». — «Так иди сама за ней», — ответил колдун. И крыса пошла обратно в город, откуда она скоро и вернулась с большой седой крысой, такой уже старой, что она двигаться не могла. Крыса помоложе потащила старую за хвост, и обе вошли в Везер, где и потонули, как их товарки. Итак, город был от них очищен. Но когда незнакомец явился в ратушу за условленной платой, то бургомистр и горожане, сообразив, что крыс им теперь нечего бояться, а с человеком без покровителей можно и подешевле разделаться, не постыдились предложить ему десять дукатов вместо обещанной сотни. Незнакомец настаивал

— они его послали к черту. Тогда он пригрозил, что он заставит их заплатить дороже, если они не будут придерживаться буквы договора. Горожане расхохотались на его угрозу и выставили его из ратуши, назвав *славным крысоловом;* кличку эту повторяли и городские ребятишки, бежавшие за ним по улицам вплоть до новых ворот. В следующую пятницу незнакомец снова появился среди базарной площади, на этот раз в шляпе пурпурного цвета, заломленной самым причудливым образом. Из сумки он вынул флейту, совсем другую, чем в первый раз, и как только заиграл на ней, так все мальчики в городе от шести до пятнадцати лет последовали за крысоловом и вместе с ним вышли из города.

— И гамельнские жители так и позволили их увести? — спросили в один голос Мержи и капитан.

— Они их провожали до горы Коппенберг, где была пещера, теперь заваленная. Флейтист вошел в пещеру, и все дети за ним следом. Некоторое время слышны были звуки флейты, мало-помалу они затихали, и наконец все умолкло. Дети исчезли, и с тех пор о них ни слуху ни духу.

Цыганка остановилась, чтобы судить по лицам слушателей о впечатлении, произведенном ее

рассказом.

Первым начал говорить рейтар, бывавший в Гамельне:

— История эта настолько достоверна, что, когда в Гамельне идет речь о каком-нибудь событии, всегда говорят: «Это случилось двадцать лет, десять лет спустя после ухода наших детей… Господин фон Фалькенштейн разграбил наш город через шестьдесят лет после ухода наших детей».

— Но всего любопытнее, — сказала Мила, — то, что в это же время, далеко оттуда, в Трансильвании, появились какие-то дети, хорошо говорившие по-немецки, которые не могли объяснить, откуда они пришли. Они поженились на месте и научили своих детей родному языку, откуда и пошло то, что в Трансильвании до сих пор говорят по-немецки.

— Они и есть те гамельнские дети, которых дьявол туда перенес? — спросил Мержи с улыбкой.

— Небом клянусь, что это верно! — воскликнул капитан. — Я ведь бывал в Трансильвании и отлично знаю, что там говорят по-немецки, меж тем как вокруг лопочут на каком-то тарабарском языке.

Свидетельство капитана имело не меньший вес, чем многие другие доказательства.

— Хотите, я вам погадаю? — спросила Мила у Мержи.

— Пожалуйста, — ответил Мержи, обняв левой рукой за талию цыганку, меж тем как ладонь правой подставил ей для гаданья.

Мила минут пять рассматривала ее молча и от времени до времени задумчиво покачивала головой.

— Ну, дитя мое, получу ли я в любовницы женщину, которую я люблю?

Мила щелкнула его по руке.

— Счастье и несчастье; от голубого глаза — и зло, и добро. Хуже всего, что ты прольешь собственную свою кровь.

Капитан и корнет хранили молчание, по-видимому оба одинаково потрясенные зловещим концом предсказания. Трактирщик в сторонке размашисто крестился.

— Я поверил бы, что ты — настоящая колдунья, — сказал Мержи, — если бы ты могла сказать, что я сейчас сделаю.

— Поцелуешь меня, — прошептала ему на ухо Мила.

— Она колдунья! — воскликнул Мержи, целуя ее. Он продолжал тихонько беседовать с хорошенькой гадальщицей, и, по-видимому, с каждой

минутой они все больше и больше столковывались.

Трудхен взяла мандолину, у которой почти все струны были целы, и начала немецким маршем. Затем, видя, что около нее кружком стоят солдаты, она спела на родном языке военную песню, припев которой рейтары подхватывали во все горло. Возбужденный ее примером, капитан тоже принялся петь таким голосом, что стекла едва не лопнули, старую гугенотскую песню, музыка которой по варварству могла поспорить со словами:

Наш доблестный Конде
В сырой лежит земле.
Но добрый адмирал,
С коня он не слезал;
Ему с Ларошфуко
Прогнать папистов легко,
Легко, легко, легко!

Все рейтары, возбужденные вином, затянули каждый свою песню. Пол покрылся осколками бутылок и битой посудой; кухня наполнилась ругательствами, хохотом и вакхическими напевами.

Скоро, однако, сон, которому способствовали пары орлеанских вин, дал почувствовать свою власть большинству из участников этой оргии. Солдаты улеглись по скамейкам; корнет, поставив у дверей двух часовых, шатаясь поплелся к своей постели; капитан, не потерявший еще чувства прямой линии, не лавируя, поднялся по лестнице, которая вела в комнату самого хозяина, которую гость выбрал для себя как самую лучшую в гостинице.

А Мержи с цыганкой? Они оба исчезли раньше, чем капитан начал петь.

II. На следующий день после пирушки

Носильщик. Говорю вам, что хочу получить деньги сейчас же.

Мольер. Смешные жеманницы, сцена 7

Солнце уже давно встало, когда проснулся Мержи с не совсем свежей от воспоминаний вчерашнего вечера головой. Платье его валялось разбросанным по комнате, чемодан был открыт и стоял на полу. Он сел, не спуская ног, и некоторое время созерцал эту картину беспорядка, потирая лоб, словно для того, чтобы собраться с мыслями. Черты его выражали одновременно усталость, удивление и беспокойство.

На каменной лестнице, ведущей в его комнату, раздались тяжелые шаги. В двери даже не соблаговолили постучать, — они прямо открылись, и вошел трактирщик с еще более нахмуренной физиономией, чем накануне; но во взгляде его легко было прочитать наглость вместо прежнего страха. Он окинул взором комнату и перекрестился, словно его охватил ужас при виде такого

беспорядка.

— Ах, молодой барин, — воскликнул он, — вы еще в постели? Пора вставать: нам надо с вами сосчитаться.

Мержи зевнул ужасающим образом и выставил одну ногу.

— Почему такой беспорядок? Почему мой чемодан открыт? — спросил он тоном, не менее недовольным, чем тон хозяина.

— Почему? Почему? — ответил тот. — А я почем знаю? Мне дела нет до вашего чемодана! Вы в моем доме устроили еще худший беспорядок. Но, клянусь моим покровителем святым Евстахием, вы мне за это заплатите!

Покуда он говорил, Мержи надевал свои пунцовые штаны, из незастегнутого кармана которых от движения выпал его кошелек. Вероятно, ему показалось, что тот иначе брякнул, чем он ожидал, потому что тот сейчас же тревожно его подобрал и открыл.

— Меня обокрали! — воскликнул он, оборачиваясь к хозяину.

Вместо двадцати золотых экю, находившихся в его кошельке, оставалось только два.

Дядя Эсташ пожал плечами с презрительной улыбкой.

— Меня обокрали! — повторил Мержи, торопливо завязывая пояс. — У меня было двадцать золотых экю в этом кошельке, и я желаю получить их обратно; их стащили у меня в вашем доме.

— Я от души рад этому, провалиться мне на месте! — нагло воскликнул хозяин. — Это вас научит, каково якшаться с ведьмами и воровками. Впрочем, — прибавил он, понижая голос, — рыбак рыбака видит издалека. Вся эта палачная пожива: еретики, колдуны и воры всегда вместе хороводятся.

— Что ты толкуешь, негодяй! — закричал Мержи, рассерженный тем сильнее, что в душе он чувствовал справедливость упреков, и, как всякий человек, который не прав, привязывался к предлогу для ссоры.

— Я толкую, — отвечал трактирщик, подбочениваясь, — я толкую, что вы все у меня в доме переломали, и требую, чтобы вы мне заплатили за убытки до последнего су.

— Свою долю я заплачу, и ни гроша больше. Где капитан Корн… Горнштейн?

— У меня выпито, — продолжал все громче кричать дядя Эсташ, — у меня выпито больше двух сотен бутылок хорошего старого вина, и вы

ответите мне за это!

Мержи совсем оделся.

— Где капитан? — закричал он громовым голосом.

— Два часа, как убрался. И пусть бы он убирался к черту со всеми гугенотами, пока мы их всех не сожжем.

Здоровая оплеуха была единственным ответом, который в данную минуту нашелся у Мержи.

Сила и неожиданность удара заставили трактирщика отступить на два шага. Из кармана его штанов высовывалась костяная ручка большого ножа; он потянулся к ней. Несомненно, произошло бы какое-нибудь большое несчастье, уступи он первому движению гнева. Но благоразумие одержало верх над яростью, и он заметил, что Мержи протягивает руку к длинной шпаге, висевшей над изголовьем кровати. Он сейчас же отказался от неравного боя и стремглав бросился вниз по лестнице, крича во все горло:

— Караул! Убивают! Жгут!

Оставшись хозяином поля битвы, но сильно беспокоясь за последствия своей победы, Мержи застегнул свой пояс, засунул за него пистолеты, запер чемодан и, взяв его в руки, решил идти с жалобой к ближайшему судье. Он открыл дверь и

ступил на первую ступеньку, как вдруг внезапно перед его глазами предстала целая толпа врагов.

Впереди шел трактирщик со старым бердышом в руке, вслед за ним три поваренка, вооруженные вертелами и палками; арьергард составлял какой-то сосед с аркебузой. Ни та ни другая сторона не ожидала такого быстрого столкновения. Каких-нибудь пять-шесть ступеней отделяли друг от друга враждующие стороны.

Мержи выпустил из рук чемодан и схватился за пистолет. Враждебное это движение дало понять дяде Эсташу и его спутникам, насколько несовершенно их боевое расположение. Как персы при Саламине, они не позаботились выбрать такой строй, который позволил бы им выгодно использовать численное преимущество. Единственный человек из их отряда, обладавший огнестрельным оружием, не мог им пользоваться без того, чтобы не ранить находившихся впереди товарищей, между тем как пистолеты гугенота, казалось, могли уложить их всех одним выстрелом вдоль лестницы. До их слуха донеслось, как щелкнул тихонько курок, взведенный Мержи, и звук этот показался им таким страшным, как самый выстрел. Естественным движением неприятельская колонна сделала полный оборот

и побежала искать в кухне более обширное и благоприятное для себя поле сражения. Во время беспорядка, неразрывного с ускоренным отступлением, хозяин, хотевший повернуть бердыш, попал им себе между ног и свалился. Как противник великодушный, не удостаивающий пустить в ход оружие, Мержи ограничился тем, что бросил в беглецов своим чемоданом, который, обрушившись на них, как обломок скалы, с каждой ступеньки ускоряя свое движение, докончил разгром. Лестница очистилась от неприятеля, и в виде трофея остался сломанный бердыш.

Мержи быстро спустился в кухню, где враг уже перестроился в одну линию. Владелец аркебузы держал свое оружие наготове и раздувал зажженный фитиль. Хозяин, весь в крови, так как при падении сильно расквасил нос, держался позади своих приятелей, подобно раненому Менелаю, находившемуся в задних рядах греков. Вместо Махаона и Подалирия его жена, с распущенными волосами и развязавшимся головным убором, вытирала ему лицо грязной салфеткой.

Мержи без колебаний принял решение. Он прямо подошел к человеку, державшему аркебузу, и приставил ему к груди дуло пистолета.

— Брось фитиль или ты умрешь! — закричал

он.

Фитиль упал на пол, и Мержи, наступив сапогом на конец дымящегося жгута, потушил его. Остальные союзники сейчас же все в одно время сложили оружие.

— Что касается вас, — обратился Мержи к хозяину, — маленькое наказание, что вы от меня получили, научит вас, конечно, повежливее обращаться с проезжающими. Стоит мне захотеть — и местный уездный судья снимет вашу вывеску; но я не злопамятен. Ну, сколько же я вам должен за свою долю?

Дядя Эсташ, заметив, что тот спустил курок своего ужасного пистолета и даже засунул этот последний во время разговора себе за пояс, немного приободрился и, утирая лицо, печально пробормотал:

— Побить посуду, поколотить людей, расквасить нос добрым христианам… подымать шум, как черти… я не знаю, в конце концов, чем можно вознаградить честного человека.

— Постойте, — прервал его Мержи, улыбаясь, — за ваш расквашенный нос я заплачу вам столько, сколько, по-моему, он стоит. За разбитую посуду — обращайтесь к рейтарам, это их рук дело. Остается выяснить, сколько я вам должен за свой

вчерашний ужин.

Хозяин посмотрел на жену, поварят и соседа, как бы ища у них в одно и то же время совета и покровительства.

— Рейтары, рейтары! — промолвил он. — Не легкое дело получить с них деньги; их капитан дал мне три ливра, а корнет — пинок ногою.

Мержи взял одно из оставшихся у него золотых экю.

— Ну, — сказал он, — расстанемся по-хорошему. — И он бросил дяде Эсташу монету, но тот, вместо того чтобы подставить руку, пренебрежительно дал ей упасть на пол.

— Одно экю! — воскликнул он. — Экю за сотню разбитых бутылок! Одно экю за разорение всего дома! Одно экю за побои!

— Одно экю! Всего одно экю! — подхватила жена жалобным тоном. — Случается, что приезжают сюда и католические господа; иногда пошумят, но по крайней мере те цену вещам знают.

Если бы кошелек у Мержи был в лучшем состоянии, он, несомненно, поддержал бы репутацию своих единомышленников как людей щедрых.

— В час добрый! — сухо ответил он. — Но католические эти господа не были обворованы. Ну, решайте, — прибавил он, — принимайте это экю,

а то ничего не получите. — И он сделал движение, как будто хотел взять его обратно.

Хозяйка сейчас же подобрала монету.

— Ну! Пускай выведут мне лошадь! А ты там брось свой вертел и вынеси мой чемодан.

— Вашу лошадь, барин? — переспросил один из рабочих дяди Эсташа и сделал гримасу.

Хозяин, несмотря на огорчение, поднял голову, и глаза его на минуту блеснули злорадством.

— Я сам сейчас вам ее выведу, барин; я сейчас вам выведу вашу славную лошадку! — И он вышел, продолжая держать у носа салфетку.

Мержи вышел за ним следом.

Каково же было его удивление, когда вместо прекрасной рыжей лошади, на которой он приехал, он увидел пегую клячонку с засекшимся коленом, вдобавок еще обезображенную широким шрамом на голове! Вместо своего седла из тонкого фландрского бархата он увидел кожаное седло, обитое железом, — одним словом, обыкновенное солдатское седло.

— Что это значит? Где же моя лошадь?

— Пусть ваша честь потрудится спросить об этом у господ протестантских рейтаров, — ответил хозяин с напускным смирением, — достойные эти гости увели ее вместе с собой; надо

думать, обознались они — очень похожа.

— Знатный конь! — проговорил один из поварят. — Бьюсь об заклад, что ему не больше двадцати лет.

— Никто не будет отрицать, что это боевой конь, — сказал другой, — посмотрите, какой сабельный удар получил он по лбу.

— И масть славная! — подхватил третий. — Что твой протестантский пастор: белая с черным.

Мержи вошел в конюшню; она была пуста.

— Как же вы допустили, чтобы мою лошадь увели? — закричал он в бешенстве.

— О Господи, барин! — сказал работник, на попечении которого была конюшня. — Ее увел трубач и сказал, что вы уговорились с ним поменяться.

Мержи задыхался от гнева; в такой беде он не знал, с кого спрашивать.

— Поеду отыщу капитана, — проворчал он сквозь зубы, — и он строго взыщет с негодяя, который меня обворовал.

— Конечно, — сказал хозяин, — ваша честь хорошо сделают. У этого капитана… как бишь его фамилия?.. у него всегда было лицо вполне порядочного человека.

Мержи в уме уже решил, что кража соверше-

на с соизволения, если и не по приказу самого капитана.

— Вы могли бы воспользоваться случаем при этом, — добавил хозяин, — вы могли бы вернуть и свои золотые экю от этой молодой барышни; она, наверное, ошиблась, на рассвете связывая свои узлы.

— Прикажете привязать чемодан вашей милости к лошади вашей милости? — спросил конюх самым почтительным и приводящим в отчаяние тоном.

Мержи понял, что чем дольше он будет здесь оставаться, тем дольше ему придется подвергаться издевательствам этих каналий. Чемодан был уже привязан; он вскочил в скверное седло; но лошадь, почувствовав нового седока, возымела коварное желание испытать его познания в верховой езде. Вскоре, однако, она заметила, что имеет дело с превосходным наездником, менее всего расположенным в данную минуту переносить ее милые шуточки; брыкнувшись несколько раз задними ногами, за что щедро была награждена сильными ударами весьма острых шпор, она благоразумно решила подчиниться и пуститься крупной рысью в путь. Но часть своей силы она уже истощила в борьбе с седоком, и с

ней случилось то, что случается со всеми клячами в подобных случаях. Она упала разбитая, как говорится, на все четыре ноги. Наш герой сейчас же поднялся на ноги, слегка помятый, но, главное, взбешенный улюлюканьем, сейчас же раздавшимся по его адресу. С минуту он даже колебался, не пойти ли наказать насмешников ударами шпаги плашмя, но, по здравом размышлении, ограничился тем, что сделал вид, будто не слышит оскорблений, несшихся к нему издали, и медленно поехал снова по Орлеанской дороге, преследуемый на расстоянии ватагой ребятишек; те, что постарше, пели песню о *Жане Петакене*[14], а малыши кричали изо всех сил:

— Бей гугенота! Бей гугенота! На костер!

Проковыляв довольно печально около полуверсты, он подумал, что рейтаров он сегодня едва ли догонит, что лошадь его, наверно, уже продана, что, в конце концов, более чем сомнительно, чтобы эти господа согласились ее вернуть. Мало-помалу он примирился с мыслью, что лошадь его пропала безвозвратно; и так как, допустив такое предположение, он не имел никакой надобности в Орлеанской дороге, он снова пустился

---

[14] Примечания: 14
Комический персонаж старинной народной песни.

по парижской, или, вернее сказать, по проселку, чтобы избегнуть необходимости проезжать мимо злополучной гостиницы, свидетельницы его злоключений. Так как он с ранних лет приучился во всех событиях жизни находить хорошие стороны, то мало-помалу пришел к убеждению, что, в сущности, он счастливо и дешево отделался: его могли бы дочиста обокрасть, может быть, даже убить, а между тем ему оставили еще одно золотое экю, почти все его пожитки и лошадь, правда безобразную, но на которой можно все-таки ехать. Сказать откровенно, воспоминание о хорошенькой Миле не раз вызывало у него улыбку. Короче, после нескольких часов дороги и хорошего завтрака он почти был тронут деликатностью этой честной девушки, взявшей только восемнадцать экю из кошелька, в котором их было двадцать. Труднее было ему примириться с потерей своего славного рыжака, но он не мог не согласиться, что вор более закоренелый, чем трубач, увел бы его лошадь, не оставив никакой в замену.

Вечером он приехал в Париж незадолго до закрытия ворот и остановился в гостинице на улице Сен-Жак.

III. Придворная молодежь

Jachimo. The ring is won.
Posthumus. The stone's too hard to come by.
Jachimo. Not a whit,
Your lady being so easy.

Shakespeare. Cymbeline, II, 4

Иахимо. Кольцо – мое.
Постумий. Добыть трудненько камень.
Иахимо. Пустяки! Поможет мне супруга ваша.

Шекспир. Цимбелин, II, 4

Отправляясь в Париж, Мержи надеялся заручиться влиятельными рекомендациями к адмиралу Колиньи и получить службу в армии, которая собиралась, по слухам, выступить в поход во Фландрию под предводительством этого великого полководца. Он льстил себя надеждой, что друзья его отца, к которым он вез письма, поддержат его хлопоты и доставят ему доступ ко двору Карла и к адмиралу, у которого тоже было подобие двора. Мержи знал, что брат его

пользуется некоторым влиянием, но еще далеко не решил, следует ли его отыскивать. Отречение Жоржа де Мержи почти окончательно отделило его от семьи, для которой он сделался совсем чужим человеком. Это был не единственный пример семейного раскола на почве религиозных убеждений. Уже давно отец Жоржа запретил в своем присутствии произносить имя *отступника,* приводя в подтверждение своей строгости евангельский текст: *«Если правое твое око соблазняет тебя, вырви его».* Хотя молодой Бернар не вполне разделял такую непреклонность, тем не менее перемена религии казалась ему позорным пятном на их семейной чести, и, естественно, чувства братской нежности должны были пострадать от такого мнения.

Раньше, чем он пришел к какому-нибудь решению, как себя вести по отношению к брату, раньше даже, чем он успел разнести рекомендательные письма, он подумал, что нужно позаботиться о том, как бы пополнить свой пустой кошелек, и с такою целью он вышел из своей гостиницы и собирался пойти к золотых дел мастеру с моста Сен-Мишель, который был должен известную сумму его семейству, на получение каковой у него была доверенность.

При входе на мост он встретился с несколькими молодыми людьми, очень изящно одетыми, которые, взявшись за руки, загораживали почти совершенно узкий проход, оставленный на мосту между множеством лавок и ларьков, подымавшихся двумя параллельными стенами и целиком закрывавших от прохожих вид на реку. Позади этих господ шли их лакеи; у каждого в руках была длинная обоюдоострая шпага в ножнах, так называемая дуэль, и кинжал, чашка которого была так широка, что при случае могла служить щитом. Вероятно, вес этого оружия казался слишком тяжелым для этих молодых господ; а может быть, они были рады показать всему свету, что у них есть богато одетые лакеи.

По-видимому, они находились в хорошем настроении, по крайней мере если судить по беспрерывным взрывам смеха. Если мимо них проходила прилично одетая женщина, они ей кланялись полупочтительно-полунагло; между тем большинству из этих повес доставляло удовольствие грубо толкать серьезных горожан в черных плащах; те отходили в сторону, вполголоса проклиная нахальство придворных людей. Один из компании шел опустив голову и, казалось, не принимал никакого участия в общих

развлечениях.

— Порази меня Бог, Жорж, — воскликнул один из молодых людей, хлопая его по плечу, — ты делаешься невозможным букой! Вот уже целых четверть часа, как ты рта не раскрыл. Ты хочешь сделаться молчальником, что ли?

Мержи вздрогнул при имени Жорж, но он не расслышал, что ответило лицо, названное этим именем.

— Ставлю сто пистолей, — продолжал первый, — что он все еще влюблен в какое-нибудь чудовище добродетели. Бедный друг мой, жалею я тебя. Нужно иметь большую неудачу, чтобы в Париже попасть на неприступную красавицу!

— Пойди к магику Рюдбеку, — заговорил другой, — он даст тебе приворотное питье, чтобы тебя полюбили.

— А может быть, — начал третий, — а может быть, наш друг капитан влюблен в монахиню. Эти черти гугеноты, обращенные или необращенные, что-то имеют против невест Христовых.

Голос, который Мержи сейчас же узнал, отвечал с грустью:

— Черт возьми! Если бы дело шло только о любовных делах, я не был бы так печален. Но, — прибавил он тише, — я поручил де Пону отвезти

письмо к моему отцу. Он вернулся и передал мне, что тот упорствует и не желает слышать обо мне.

— Твой отец старой закваски, — сказал один из молодых людей, — он — один из старых гугенотов, которые еще собирались взять Амбуаз.

В эту минуту капитан Жорж случайно обернулся и заметил Мержи.

Вскрикнув от удивления, он бросился к нему с распростертыми объятиями. Мержи ни минуты не колебался: он протянул ему руки и прижал его к своей груди. Будь встреча не столь неожиданной, он, может быть, попытался бы вооружиться равнодушием, но непредвиденность восстановила все права природы. После этой первой минуты их встреча протекала как встреча друзей, не видевшихся после долгих странствий.

После объятий и первых расспросов капитан Жорж обернулся к своим друзьям, часть которых остановилась и наблюдала эту сцену.

— Господа, — сказал он, — видите, какая неожиданная встреча! Простите меня, если я вас покину, чтобы побеседовать с братом, с которым я не видался более семи лет.

— Нет, черт возьми, мы и слышать не хотим, чтобы ты сегодня не был с нами. Обед заказан, ты

должен в нем участвовать. — Говоривший таким образом в то же время схватил его за плащ.

— Бевиль прав, — сказал другой, — и мы тебя не отпустим.

— Какого черта! — снова начал Бевиль. — Пускай твой брат идет с нами обедать. Вместо одного приятного сотрапезника мы получим двоих.

— Простите, — сказал тогда Мержи, — у меня много дел, которые нужно сегодня же окончить. Я должен передать несколько писем.

— Вы передадите их завтра.

— Необходимо передать их сегодня… К тому же… — продолжал Мержи, улыбаясь с некоторым смущением, — признаюсь, я без денег и мне нужно идти их доставать.

— По чести, славная отговорка! — воскликнули все в один голос. — Мы никак не допустим, чтобы вы отказались отобедать с истинными христианами вроде нас и вместо этого пошли занимать деньги к евреям.

— Пожалуйста, друг мой! — произнес Бевиль, подчеркнуто потряхивая длинным шелковым кошельком, засунутым за пояс. — Считайте меня своим казначеем. Последние две недели мне здорово везло в кости.

— Идем! Идем! Не останавливаться! Идем

обедать к «Мавру», — подхватили остальные молодые люди.

Капитан взглянул на своего брата, все еще оставшегося в нерешительности.

— Пустяки! Ты найдешь время передать свои письма. Что же касается денег, то у меня их вдоволь. Так идем с нами! Ты познакомишься с парижской жизнью.

Мержи уступил настояниям. Брат представил его по очереди своим друзьям: барону де Водрейлю, шевалье де Рейнси, виконту де Бевилю и прочим. Они засыпали вновь прибывшего любезностями, причем ему пришлось со всеми по очереди перецеловаться. Последним поцеловался с ним Бевиль.

— Ого! — воскликнул он. — Разрази меня Бог! Приятель, я чувствую, попахивает еретиком. Ставлю золотую цепь против одной пистоли, что вы — протестант.

— Вы правы, сударь, но не такой хороший протестант, как следовало бы.

— Ну что, умею я из тысячи узнать гугенота? Волк меня заешь, какой серьезный вид принимают господа кальвинисты, когда заговорят о своей вере.

— Мне кажется, никогда не следовало бы гово-

рить шутя о таких вещах.

— Господин де Мержи прав, — сказал барон де Водрейль, — а с вами, Бевиль, непременно стрясется какая-нибудь беда за ваши неуместные шутки над священными вещами.

— Посмотрите только на этот святой лик! — сказал Бевиль, обращаясь к Мержи. — Он самый отъявленный распутник изо всех нас, а между тем от времени до времени принимается нам читать проповеди.

— Оставьте меня таким, каков я есть, Бевиль, — ответил Водрейль. — Я распутник, потому что не могу победить свою плоть; но по крайней мере я уважаю то, что достойно уважения.

— А я весьма уважаю… свою мать. Это единственная честная женщина, какую я знал. К тому же, мой милый, для меня все равно: католики, гугеноты, паписты, евреи, турки. Меня их споры интересуют, как сломанная шпора.

— Нечестивец! — проворчал Водрейль и перекрестил свой рот, тщательно стараясь прикрыть это движение носовым платком.

— Нужно тебе сказать, Бернар, — сказал капитан Жорж, — что между нами ты едва ли встретишь таких спорщиков, как наш ученый Теобальд Вольфштейниус. Мы не придаем боль-

шого значения богословским беседам и, слава Богу, находим лучшее применение своему времени.

— Быть может, — ответил Мержи с некоторой горечью, — быть может, для тебя было бы полезнее прислушиваться внимательно к ученым рассуждениям достойного священнослужителя, которого ты только что назвал.

— Довольно об этом, братишка; в другое время я, может быть, с тобой об этом возобновлю разговор. Я знаю, что твое мнение обо мне… Ну, все равно… сюда мы собрались не для подобных разговоров… Я считаю себя порядочным человеком, и ты, конечно, со временем это увидишь… Ну, довольно об этом, теперь будем думать только о развлечении.

Он провел рукой по лбу, как будто отгоняя тягостные мысли.

— Дорогой брат мой! — тихонько сказал Мержи, пожимая ему руку. Жорж ответил ему на пожатие, и оба поспешили присоединиться к своим товарищам, опередившим их на несколько шагов.

Проходя мимо Лувра, из которого выходило множество богато одетых лиц, капитан и его друзья почти со всеми знатными господами, которые

им встречались, обменивались поклонами или поцелуями.

В то же время они представляли им молодого Мержи, который, таким образом, в одну минуту познакомился с бесконечным количеством знаменитых людей своей эпохи. В то же время он узнавал их прозвища (тогда каждый выдающийся человек имел свою кличку), равно как и скандальные слухи, распускавшиеся про них.

— Видите, — говорили ему, — этого советника, такого бледного и желтого. Это мессер *Petrus de finibus*[15], по-французски — Пьер Сегье, который во всех делах, что он предпринимает, ведет себя так ловко, что достигает желанного конца. Вот капитанчик Егоза, Торе де Монморанси; вот Бутылочный архиепископ, который довольно прямо сидит на своем муле, пока не пообедал. Вот один из героев вашей партии, храбрый граф де Ларошфуко, прозванный капустным истребителем. В последнюю войну он из аркебуз обстрелял несчастный капустный огород, приняв его сослепу за ландскнехтов.

Менее чем в четверть часа он узнал имена любовников почти всех придворных дам и ко-

---

[15] Примечания: 15
Петр, цели достигающий (*лат.*).

личество дуэлей, возникших из-за их красоты. Он увидел, что репутация дамы находилась в зависимости от числа смертей, причиненных ею; так, г-жа де Куртавель, любовник которой уложил на месте двух соперников, пользовалась куда большей славой, чем бедная графиня де Померанд, послужившая поводом к единственной маленькой дуэли, окончившейся легкой раной.

Внимание Мержи привлекла женщина статного роста, ехавшая в сопровождении двух лакеев на белом муле, которого вел конюх. Платье ее было по новейшей моде и все топорщилось от множества шитья. Насколько можно было судить, она была красива. Известно, что в ту эпоху дамы выходили обязательно с маской на лице — у нее была черная бархатная маска; судя по тому, что было видно в отверстия для глаз, можно было заключить или, вернее, предположить, что кожа у нее должна быть ослепительной белизны и глаза темно-синие.

Проезжая мимо молодых людей, она задержала шаг своего мула; казалось даже, что она с некоторым вниманием посмотрела на Мержи, лицо которого было ей незнакомо. При ее проезде люди видели, как перья всех шляп касались земли, а она грациозно наклоняла голову в ответ на

многочисленные приветствия, которые слал ей строй поклонников, сквозь который она следовала. Когда она уже удалялась, легкий порыв ветра приподнял подол ее длинного шелкового платья, и как молния блеснула маленькая туфелька из белого бархата и полоска розового шелкового чулка.

— Кто эта дама, которой все кланяются? — спросил Мержи с любопытством.

— Уже влюбился! — воскликнул Бевиль. — Впрочем, иначе и быть не может: гугеноты и паписты все влюблены в графиню Диану де Тюржи.

— Это одна из придворных красавиц, — добавил Жорж, — одна из самых опасных цирцей для нас, молодых ухаживателей. Но, черт! Крепость эту взять не шутка.

— Сколько же за ней считается дуэлей? — спросил со смехом Мержи.

— О! Она иначе не считает, как десятками, — ответил барон де Водрейль, — но лучше всего то, что она сама захотела драться. Она послала форменный вызов одной придворной даме, которая перебила ей дорогу.

— Какие сказки! — воскликнул Мержи.

— В наше время она не первая дерется на дуэли.

Она послала по всем правилам вызов Сент-Фуа, приглашая ее на смертный поединок, на шпагах и кинжалах, в одних рубашках, как это делают *заправские* дуэлянты.

— Хотел бы я быть секундантом одной из этих дам, чтобы посмотреть обеих их в рубашках, — сказал шевалье де Рейнси.

— И дуэль состоялась? — спросил Мержи.

— Нет, — ответил Жорж, — их помирили.

— Он же их и помирил, — заметил Водрейль, — он был тогда любовником Сент-Фуа.

— Фи! Не больше, чем ты! — очень скромно ответил Жорж.

— Тюржи вроде Водрейля, — заговорил Бевиль, — она делает окрошку из религии и современных нравов; хочет драться на дуэли, что, насколько мне известно, смертный грех, и каждый день выстаивает по две обедни.

— Оставь меня в покое с твоей обедней! — воскликнул Водрейль.

— Ну, к обедне она ходит, — вступился Рейнси, — для того, чтобы показаться без маски.

— Я думаю, потому за обедней и бывает так много женщин, — заметил Мержи, обрадовавшись, что нашел случай посмеяться над религией, к которой не принадлежал.

— Совсем так, как и на протестантских проповедях! — сказал Бевиль. — Когда кончается проповедь, тушат свет, и хорошенькие вещи тогда происходят, черт возьми! Это возбуждает во мне сильное желание сделаться лютеранином.

— И вы верите таким нелепицам? — возразил презрительно Мержи.

— Как же не верить! Маленький Ферран, которого мы все знаем, ходил в Орлеане на протестантскую проповедь, чтобы иметь свидание с женой нотариуса, великолепной женщиной, ей-богу! У меня слюнки текли от одних его рассказов о ней. Он только там и мог с ней видеться. К счастью, один из его друзей, гугенот, сообщил ему условное место для прохода; он пришел на проповедь — и потом в темноте, можете полагать, приятель наш времени даром не терял.

— Это невозможно, — сухо сказал Мержи.

— Почему невозможно?

— Потому что никогда протестант не будет так низок, чтобы привести паписта к нам на проповедь.

Ответ этот возбудил взрывы смеха.

— Ха-ха! — сказал барон де Водрейль. — Вы полагаете, что раз человек гугенот, так он не может быть ни вором, ни изменником, ни посредником

в любовных делах.

— Он с луны упал! — воскликнул Рейнси.

— Что касается меня, — заметил Бевиль, — так, если бы мне нужно было передать любовную записочку какой-нибудь гугенотке, я бы обратился к их священнику.

— Без сомнения, потому, — ответил Мержи, — что вы привыкли вашим священникам давать подобные поручения.

— Нашим священникам!.. — сказал Водрейль, краснея от гнева.

— Бросьте эти скучные споры, — прервал их Жорж, заметив оскорбительную горечь каждого выпада, — оставим ханжей всех сект. Я предлагаю: пусть каждый, кто произнесет слова: «гугенот», «папист», «протестант», «католик», — платит штраф!

— Идет! — воскликнул Бевиль. — Ему придется угостить нас прекрасным кагором в гостинице, куда мы едем обедать.

С минуту помолчали.

— После смерти этого бедняги Ланнуа, убитого под Орлеаном, у Тюржи не было открытого любовника, — сказал Жорж, не желавший оставлять своих друзей застывать на богословских темах.

— Кто посмеет утверждать, что у парижской

женщины нет любовника? — воскликнул Бевиль. — Верно то, что Коменж не отстает от нее ни на шаг.

— То-то маленький Наварет отступился, — сказал Водрейль, — он испугался такого грозного соперника.

— Значит, Коменж ревнив? — спросил капитан.

— Ревнив, как тигр, — ответил Бевиль, — и готов убить всякого, кто посмеет полюбить прекрасную графиню; так что в конце концов, чтобы не остаться без любовника, ей придется взять Коменжа.

— Кто же такой этот опасный человек? — спросил Мержи, который, сам того не замечая, с живейшим любопытством относился ко всему, что так или иначе касалось графини де Тюржи.

— Это, — ответил ему Рейнси, — один из самых пресловутых наших *заправских хватов*; я охотно объясню вам, как провинциалу, значение этого слова. Заправский хват — это доведенный до совершенства светский человек — человек, который дерется на дуэли, если другой заденет его плащом, если в четырех шагах от него плюнут или по любому столь же законному поводу.

— Коменж, — сказал Водрейль, — как-то раз за-

тащил одного человека на Пре-о-Клер[16]; снимают камзолы, обнажают шпаги. «Ведь ты — Берни из Оверни?» — спрашивает Коменж. «Ничуть не бывало, — отвечает тот, — моя фамилия Вилькье, и я из Нормандии». — «Тем хуже, — отвечает Коменж, — я принял тебя за другого, но раз я тебя вызвал, нужно драться». И он браво его убил.

Каждый привел какой-нибудь пример ловкости или воинственного нрава Коменжа. Тема была богатая, и этого разговора хватило на столько времени, что они вышли за город, к гостинице «Мавр», расположенной посреди сада, недалеко от места, где шла постройка замка Тюильри, начатая в 1564 году. Там сошлось много знакомых Жоржа и его друзей-дворян, и за стол сели большой компанией.

Мержи, сидевший рядом с бароном де Водрейлем, заметил, как, садясь за стол, тот перекрестился и, закрыв глаза, пробормотал следующую странную молитву:

«Laus Deo, pax vivis, salutem defunctis et beata viscera virginis Mariae, quae portaverunt Aeterni

---

[16] Примечания: 16

Луг Пре-о-Клер — классическое место для дуэлей в те времена. Пре-о-Клер находился против Лувра, между улицей Малых августинцев и улицей Бак.

Patris Filium»[17].

— Вы знаете латынь, господин барон? — спросил у него Мержи.

— Вы слышали мою молитву?

— Да, но, признаться, не понял ее.

— Сказать по правде, я не знаю латыни и не слишком хорошо понимаю, что означает эта молитва; но меня научила ей одна из моих тетушек, которой эта молитва всегда помогала, и, с тех пор как я ею пользуюсь, она оказывает только хорошее действие.

— Вероятно, это латынь католическая, и потому для нас, гугенотов, она непонятна.

— Штраф! Штраф! — закричали разом Бевиль и капитан Мержи.

Мержи подчинился без спора, и на стол поставили новые бутылки, не замедлившие привести компанию в хорошее настроение.

Вскоре разговор принял более громкий характер, и Мержи, воспользовавшись шумом, начал беседовать с братом, не обращая внимания на то, что происходило вокруг.

---

[17] Примечания: 17

«Хвала Господу, мир живущим, покойным спасение, и блаженно чрево Приснодевы Марии, что носило сына предвечного Отца» (*лат.).*

К концу второй смены блюд их *a paste*[18] было нарушено неистовым спором, только что поднявшимся меж двумя из сотрапезников.

— Это — ложь! — закричал шевалье де Рейнси.

— Ложь? — повторил Водрейль. И лицо его, бледное от природы, совсем помертвело.

— Она самая добродетельная, самая чистая из женщин, — продолжал шевалье.

Водрейль, горько улыбнувшись, пожал плечами. Взоры всех были устремлены на действующих лиц этой сцены, и все, казалось, соблюдая молчаливый нейтралитет, ожидали, чем кончится ссора.

— В чем дело, господа? Из-за чего такой шум? — спросил капитан, готовый, по своему обыкновению, противиться всякой попытке к нарушению мира.

— Да вот наш друг шевалье, — спокойно ответил Бевиль, — уверяет, что Силери, его любовница, чистая женщина, между тем как наш друг Водрейль утверждает обратное, зная за ней кой-какие грешки.

Общий взрыв смеха, сейчас же поднявшийся после такого объяснения, усилил ярость де

---

[18] Примечания: 18
Разговор между собой (*лат.*).

Рейнси, с бешенством смотревшего на Водрейля и Бевиля.

— Я мог бы показать ее письма, — сказал Водрейль.

— Ты не сделаешь этого! — закричал шевалье.

— Ну что же! — произнес Водрейль, засмеявшись недобрым смехом. — Я сейчас прочту этим господам какое-нибудь из ее писем. Может быть, им известен ее почерк так же хорошо, как и мне; я вовсе не претендую на то, чтобы быть единственным человеком, осчастливленным ее записками и ее милостями. Вот, например, записка, которую я получил от нее не далее как сегодня. — Он сделал вид, будто шарит в кармане, желая достать оттуда письмо.

— Ты лжешь, лживая глотка!

Стол был слишком широк, и рука барона не смогла коснуться противника, сидевшего напротив.

— Я так вобью тебе обратно в глотку это оскорбление, что ты задохнешься! — закричал он.

В подтверждение своих слов он запустил ему в голову бутылкой. Рейнси уклонился от удара и, впопыхах опрокинув стул, побежал к стене, чтобы снять висевшую там шпагу.

Все поднялись: одни — чтобы помешать драке,

большинство — чтобы не попасть под руку.

— Перестаньте! Вы с ума сошли! — закричал Жорж, становясь перед бароном, находившимся всего ближе от него. — Могут ли друзья драться из-за какой-то несчастной бабенки?

— Пустить бутылкой в голову — все равно что дать пощечину, — холодно заметил Бевиль. — Ну, дружок шевалье, шпагу наголо!

— Не мешайте! Не мешайте! Расступитесь! — закричали почти все находившиеся за столом.

— Эй, Жано, закрой двери, — небрежно произнес хозяин «Мавра», привыкший к подобным сценам, — если пройдет патруль, это может помешать господам и повредить заведению.

— Неужели вы будете драться в столовой, как пьяные ландскнехты? — продолжал Жорж, хотевший оттянуть время. — Подождите по крайней мере до завтра.

— До завтра? Хорошо, — сказал Рейнси и сделал движение, чтобы вложить шпагу в ножны.

— Наш маленький шевалье трусит! — заметил Водрейль.

Рейнси сейчас же растолкал всех, кто стоял у него на дороге, и бросился на противника. Оба принялись драться с бешенством, но Водрейль успел старательно обернуть салфетку вокруг

верхней части своей левой руки и ловко этим пользовался, чтобы парировать рубящие удары, между тем как Рейнси, не позаботившийся о подобной мере предосторожности, с первых же выпадов был ранен в левую руку. Тем не менее он продолжал храбро драться, крича лакею, чтобы тот подал ему кинжал. Бевиль остановил лакея, утверждая, что так как у Водрейля нет кинжала, то его не должно быть и у противника. Некоторые друзья шевалье протестовали, обменялись резкими словами, и дуэль, несомненно, перешла бы в стычку, если бы Водрейль не положил этому конец, повергнув своего противника с опасной раной в груди. Он быстро поставил ногу на шпагу Рейнси, чтобы тот ее не подобрал, и уже занес свою, чтобы добить его. Дуэльные правила допускали такую жестокость.

— Безоружного врага?! — воскликнул Жорж и вырвал у него из рук шпагу.

Рана шевалье не была смертельной, но крови вытекло много. Ее, как могли, перевязали салфетками, меж тем как он с насильственным смехом твердил сквозь зубы, что дело еще не кончено.

Вскоре появились хирург и монах, которые некоторое время оспаривали друг у друга раненого. Хирург, однако, одержал верх и, перенеся

своего больного на берег Сены, довез его в лодке до его дома.

Пока одни из слуг уносили окровавленные салфетки и замывали обагренный пол, другие ставили на стол новые бутылки. Что касается Водрейля, он тщательно вытер свою шпагу, вложил ее в ножны, перекрестился и, с невозмутимым хладнокровием вынув из кармана письмо, попросил всех помолчать и прочел, при общем хохоте, первые строчки:

«Дорогой мой, этот скучный шевалье, который пристает ко мне…»

— Выйдем отсюда, — сказал Мержи брату с отвращением.

Капитан вышел вслед за ним. Внимание всех было так поглощено письмом, что их отсутствия не заметили.

IV. Обращенный

Дон Жуан. Как! Ты принимаешь за чистую монету все только что сказанное мной и думаешь, что у меня слова соответствуют мыслям?

Мольер. Каменный гость, V, 2

Капитан Жорж вернулся в город вместе со своим братом и проводил его до дому. По дороге они едва обменялись несколькими словами, — сцена, свидетелями которой они только что были, произвела на них тягостное впечатление, невольно располагавшее их к молчанию.

Ссора эта и беспорядочный поединок, который за ней последовал, не заключали в себе ничего чрезвычайного для той эпохи. По всей Франции, из конца в конец, преувеличенная щепетильность дворянства приводила к самым роковым событиям, так что, по среднему подсчету, за царствование Генриха III и Генриха IV дуэльное поветрие унесло большее количество знатных людей, чем десять лет гражданской войны.

Помещение капитана было обставлено с элегантностью. Шелковые занавески с узором и

ковры ярких цветов прежде всего остановили на себе взоры Мержи, привыкшего к большей простоте. Он вошел в кабинет, который брат его называл своей молельней, так как еще не было придумано слово «будуар». Дубовый аналой с прекрасной резьбой, Мадонна, написанная итальянским художником, сосуд для святой воды с большой буксовой веткой, по-видимому, указывали на благочестивое предназначение этой комнаты, меж тем как низенький диван, обитый черным шелком, венецианское зеркало, женский портрет, различное оружие и музыкальные инструменты говорили о довольно светских привычках хозяина этого помещения.

Мержи бросил презрительный взгляд на сосуд со святой водой и ветку, печально напоминавшую ему об отступничестве его брата. Маленький лакей подал варенье, конфеты и белое вино; чай и кофе еще не были тогда в употреблении, и у наших предков все эти утонченные напитки заменялись вином.

Мержи, со стаканом в руке, все время переводил глаза с Мадонны на кропильницу, с кропильницы на аналой. Он глубоко вздохнул и, взглянув на брата, небрежно раскинувшегося на диване, произнес:

— Вот ты и настоящий папист! Что бы сказала наша матушка, будь она здесь?

Мысль эта, по-видимому, болезненно задела капитана. Он нахмурил свои густые брови и сделал знак рукой, словно прося брата не касаться этой темы. Но тот безжалостно продолжал:

— Неужели твое сердце так же отреклось от верований нашей семьи, как отреклись от них твои уста?

— Верованья нашей семьи… Они никогда не были моими. Как! Мне верить в лицемерные проповеди ваших гнусавых пресвитеров… мне?

— Разумеется, гораздо лучше верить в чистилище, в исповедь, в непогрешимость папы! Гораздо лучше становиться на колени перед пыльными сандалиями капуцина! Дойдет до того, что ты будешь считать невозможным сесть за обед, не прочитав молитвы барона де Водрейля.

— Послушай, Бернар! Я ненавижу словопрения, особенно касающиеся религии; но рано или поздно мне нужно объясниться с тобой, и раз уж мы начали этот разговор, доведем его до конца; я буду говорить с тобой совершенно откровенно.

— Значит, ты не веришь во все эти нелепые выдумки папистов?

Капитан пожал плечами и опустил каблук на

пол, зазвенев одной из широких шпор. Он воскликнул:

— Паписты! Гугеноты! С обеих сторон суеверие! Я не умею верить тому, что представляется моему разуму нелепостью. Наши акафисты, ваши псалмы — все эти глупости стоят одна другой. Одно только, — прибавил он с улыбкой, — что в наших церквах бывает иногда хорошая музыка, тогда как у вас для воспитанного слуха настоящий уходер.

— Славное преимущество у твоей религии! Есть из-за чего в нее переходить!

— Не называй ее моей религией, потому что я верю в нее не больше, чем в твою. С тех пор как я научился думать самостоятельно, с тех пор как разум мой стал принадлежать мне…

— Но…

— Ах, уволь меня от проповедей! Я наизусть знаю все, что ты мне скажешь. У меня тоже были свои упования, свои страхи. Ты думаешь, я не делал всех усилий, чтобы сохранить счастливые суеверия своего детства? Я перечел всех наших богословов, чтобы найти в них утешение в тех сомнениях, что меня устрашали, — я только усилил свои сомнения. Короче сказать, я не мог больше верить и не могу. Вера — это драгоценный дар, в

котором мне отказано, но которого я ни за что на свете не старался бы лишить других людей.

— Мне жаль тебя.

— Прекрасно, и ты прав. Будучи протестантом, я не верил в проповеди; будучи католиком, я так же мало верю в обедню. К тому же, черт возьми, не достаточно ли было жестокостей в нашей гражданской войне, чтобы с корнем вырвать самую крепкую веру?

— Жестокости эти — дела людей, и притом людей, извративших слово Божье.

— Ответ этот принадлежит не тебе. Но допусти, что для меня это недостаточно еще убедительно. Я не понимаю вашего Бога и не могу его понять… А если бы я верил, то это было бы, как говорит наш друг Жодель, не «без превышения расходов над прибылью».

— Раз ты к обеим религиям безразличен, зачем тогда это отступничество, так огорчившее твое семейство и твоих друзей?

— Я двадцать раз писал отцу, чтобы объяснить ему свои побуждения и оправдаться, но он бросал мои письма в огонь не распечатывая и обращался со мной хуже, чем если бы я совершил большое преступление.

— Матушка и я не одобряли этой чрезмерной

строгости. И если б не приказания…

— Я не знаю, что обо мне думали. Мне это не важно. Вот что меня заставило решиться на этот опрометчивый поступок, которого я не повторил бы, если бы вторично представился случай…

— А! Я всегда думал, что ты в нем раскаиваешься.

— Я раскаиваюсь? Нет, так как я не считаю, что я совершил какой-нибудь дурной поступок. Когда ты был еще в школе, учил свою латынь и греческий, я уже надел панцирь, повязал белый шарф и участвовал в наших первых гражданских войнах. Ваш маленький принц Конде, благодаря которому ваша партия сделала столько промахов, — ваш принц Конде посвящал вашим делам время, свободное от любовных похождений. Меня любила одна дама — принц попросил меня уступить ее ему; я ему отказал в этом, и он сделался моим смертельным врагом. С той поры его задачей стало изводить меня всяческим образом.

И маленький красавчик принц,
Кому бы только целоваться,

указывает партийным фанатикам на меня как на некое чудовище распутства и неверия. У меня была только одна любовница, которой я дер-

жался. Что касается неверия, я никого не трогал. Зачем было объявлять мне войну?

— Я никогда бы не поверил, что принц способен на такой дурной поступок.

— Он умер, и вы из него сделали героя. Так уж ведется на свете. У него были свои достоинства; умер он как храбрец, и я ему простил. Но тогда он был могуществен и считал преступлением со стороны какого-то бедного дворянина вроде меня противиться ему.

Капитан прошелся по комнате и продолжал голосом, в котором все больше слышалось волнение:

— Все священники и ханжи в войске сейчас же набросились на меня. Я так же мало обращал внимания на их лай, как и на их проповеди. Один из приближенных принца, чтобы подслужиться ему, назвал меня в присутствии всех наших капитанов развратником. Он добился пощечины, и я его убил. В нашей армии каждый день дуэлей по двенадцати, и генералы делали вид, что не замечают этого. Но для меня сделали исключение, и принц решил, чтобы я послужил примером всей армии. По просьбе всех знатных господ и, должен признаться, по просьбе адмирала меня помиловали. Но ненависть принца еще не была

удовлетворена. В сражении под Жизнейлем я командовал отрядом пистольщиков; я был первым в стычке, мой панцирь, погнутый в двух местах от аркебузных выстрелов, сквозная рана от копья в левую руку показывали, что я не щадил себя. Вокруг меня было не более двадцати человек, а против нас шел батальон королевских швейцарцев. Принц Конде отдает мне приказ идти в атаку… Я прошу у него два отряда рейтаров… и… он называет меня трусом.

Мержи встал и взял брата за руку. Капитан продолжал с гневно сверкающими глазами, не переставая ходить:

— Он назвал меня трусом в присутствии всех этих господ в позолоченных кирасах, которые через несколько месяцев бросили его при Жарнаке и дали врагам убить его. Я подумал, что следует умереть; я бросился на швейцарцев, поклявшись, если случайно выйду живым, никогда впредь не обнажать шпаги за столь несправедливого принца. Я был тяжело ранен, сброшен с лошади. Еще немного — и я был бы убит, но один из приближенных герцога д'Анжу, Бевиль, этот сумасшедший, с которым мы обедали, спас мне жизнь и представил меня герцогу. Обошлись со мной хорошо. Я жаждал мести. Меня обласкали и

уговорили поступить на службу к моему благодетелю, герцогу Анжуйскому; приводили мне стих:

> Omne solum forti patria est, ut piscibus aequor[19].

Я с негодованием видел, как протестанты призывают иноземцев на нашу родину… Но почему не открыть тебе единственной причины, побудившей меня к решению? Я хотел отомстить — и сделался католиком, в надежде встретиться на поле битвы с принцем де Конде и убить его. Но долг мой взялся заплатить негодяй… Обстоятельства, при которых он убил принца, заставили меня почти забыть свою ненависть… Я видел принца окровавленным, брошенным на поругание солдатам; я вырвал тело у них из рук и покрыл его своим плащом. Я уже крепко связал себя с католиками, я командовал у них конным эскадроном, я не мог их оставить. К счастью, как мне кажется, мне все-таки удалось оказать кое-какую услугу моей прежней партии; насколько мог, я старался смягчить ярость религиозной войны и имел счастье спасти жизнь многим из моих старых друзей.

---

[19] Примечания: 19

Храбрым повсюду отчизна одна, как рыбам — все воды *(лат.)*.

— Оливье де Басвиль везде твердит, что он тебе обязан жизнью.

— И вот я католик, — произнес Жорж более спокойным голосом. — Религия эта не хуже других: с их святошами ладить очень нетрудно. Взгляни на эту красивую Мадонну — это портрет итальянской куртизанки. Ханжи в восторге от моей набожности и крестятся на эту мнимую Богородицу. Поверь мне: с ними гораздо легче сторговаться, чем с нашими священнослужителями. Я могу жить как захочу, делая незначительные уступки мнению черни. Что? Нужно ходить к обедне? Я иногда хожу туда, чтобы посмотреть на хорошеньких женщин. Нужно иметь духовника? Черта с два! У меня есть бравый монах, бывший конный аркебузир, который за экю дает мне свидетельство об отпущении грехов да и в придачу берется передавать любовные записочки своим духовным дочерям. Черт меня побери! Да здравствует обедня!

Мержи не мог удержаться от улыбки.

— Например, — продолжал капитан, — вот мой молитвенник. — И он бросил ему богато переплетенную книгу в бархатном футляре с серебряными застежками. — Этот Часослов стоит ваших молитвенников.

Мержи прочел на корешке: *Придворный Часослов*.

— Прекрасный переплет! — сказал он с презрительным видом, возвращая книгу.

Капитан открыл ее и снова передал ему с улыбкой.

Тогда Мержи прочитал на первой странице: «*Ужасающая жизнь великого Гаргантюа, отца Пантагрюэля, составленная г. Алкофрибасом, извлекателем сути*».

— Вот это книга! — воскликнул со смехом капитан. — Я придаю ей больше значения, чем всем богословским томам Женевской библиотеки.

— Автор этой книги, говорят, был исполнен знания, но не сделал из него благого употребления.

Жорж пожал плечами:

— Прочти этот том, Бернар; ты потом скажешь мне свое мнение.

Мержи взял книгу и, помолчав немного, начал:

— Мне очень жаль, что чувство досады, безусловно законной, увлекло тебя к поступку, в котором ты, несомненно, со временем будешь раскаиваться.

Капитан опустил голову и, уставив глаза на ковер, разостланный у него под ногами, казалось,

внимательно рассматривал узор.

— Что сделано, то сделано, — произнес он наконец с подавленным вздохом. — Когда-нибудь, может быть, я и вернусь в протестантство, — прибавил он веселее. — Но бросим об этом, и дай мне слово не говорить со мной больше о таких скучных вещах.

— Надеюсь, что твои собственные размышления сделают больше, чем мои рассуждения или советы.

— Пусть так. Теперь побеседуем о твоих делах. Что ты думаешь делать при дворе?

— Я надеюсь представить адмиралу о себе достаточно хорошие отзывы, так что он соблаговолит принять меня в число приближенных на время предстоящей Нидерландской кампании.

— Плохой план. Дворянину, у которого есть храбрость да шпага на боку, совсем нет надобности с легким сердцем брать на себя роль слуги. Поступай добровольцем в королевскую гвардию; хочешь в мой отряд легкой кавалерии? Ты совершишь поход, как и все мы, под начальством адмирала, но ты не будешь ни при ком лакеем.

— У меня нет никакого желания поступать в королевскую гвардию; я чувствую даже некоторое отвращение к этому. Я ничего не имел бы против

того, чтобы служить солдатом в твоем отряде, но отец хочет, чтобы свой первый поход я совершил под непосредственным начальством адмирала.

— Узнаю вас, господа гугеноты! Вы проповедуете единение, а сами гораздо больше, чем мы, помните старые счеты.

— Каким образом?

— Ну да. Король до сих пор в ваших глазах — тиран, Ахав, как называют его ваши пасторы. Да что тут говорить! Он даже не король — он узурпатор, а после смерти Людовика Тринадцатого[20] во Франции король — Гаспар Первый.

— Какая неудачная шутка!

— В конце концов, все равно, будешь ли ты на службе у старого Гаспара или у герцога де Гиза, — господин де Шатильон — великий полководец, и под его командованием ты научишься военному делу.

— Его уважают даже враги.

— Конечно, ему несколько подпортил некий пистолетный выстрел.

— Он доказал свою невиновность, к тому же вся жизнь его служит опровержением его причаст-

---

[20] Примечания: 20

Принца Людовика де Конде, убитого при Жарнаке, католики обвиняли в претензиях на корону. Адмирала де Колиньи звали Гаспаром.

ности к гнусному убийству Польтро[21].

— Знаешь латинское изречение: Fecit cui profuit[22]? Не будь этого пистолетного выстрела, Орлеан был бы взят.

— В конечном счете в католической армии стало одним человеком меньше.

— Да, но каким человеком! Неужели ты не слышал довольно плохих два стиха, которые стоят ваших псалмов:

Покуда шайка Гизов остается,
На каждого по де Мере́ найдется.

— Ребяческие угрозы, больше ничего. Если бы я принялся перечислять все преступления приверженцев Гизов, длинная бы вышла ектения. В конце концов, если бы я был королем, чтобы восстановить мир во Франции, я бы велел посадить всех Гизов и Шатильонов в хороший кожаный мешок, хорошенько завязал бы его, зашил бы, потом велел бы бросить их в воду с грузом в сто тысяч фунтов, чтобы ни один не убежал как-ни-

[21] Примечания: 21

Польтро де Мере убил великого Франсуа, герцога де Гиза, при осаде Орлеана, в ту минуту, когда город был доведен до крайности. Колиньи довольно неубедительно опровергал обвинение в том, что убийство было совершено по его приказанию или с его согласия.

[22] Примечания: 22

«Совершил тот, кому принесло пользу» (*лат.).*

будь. Да и еще есть несколько личностей, которых я охотно посадил бы в этот мешок.

— Хорошо, что ты не французский король.

Разговор принял более веселый характер; о политике бросили говорить, как и о богословии, и братья принялись рассказывать друг другу о всех мелких приключениях, случившихся с ними со времени их разлуки. Мержи был достаточно откровенен и угостил брата своей историей в гостинице «Золотого льва»; брат от души посмеялся и подтрунивал над потерей восемнадцати золотых экю и превосходной рыжей лошади.

Раздался звон колоколов в соседней церкви.

— Черт возьми! — воскликнул капитан. — Идем сегодня вечером на проповедь; уверен, что тебя это позабавит.

— Благодарю, но у меня еще нет желания обращаться.

— Пойдем, дорогой мой, сегодня должен говорить брат Любен. Это францисканец, который так смешно говорит о вопросах религии, что всегда толпами ходят на его проповеди. К тому же сегодня весь двор будет в церкви Святого Якова — стоит посмотреть.

— А госпожа графиня де Тюржи там будет и снимет маску?

— Кстати, она непременно там будет. Если ты хочешь записаться в число искателей, не забудь, уходя с проповеди, занять место у входных дверей и подать ей святой воды. Вот тоже один из очень приятных обрядов католической религии. Боже мой, сколько хорошеньких ручек я пожимал, сколько любовных записочек передал, подавая святую воду!

— Не знаю сам почему, но эта святая вода вызывает во мне такое отвращение, что, кажется, ни за что на свете не окунул бы я в нее пальца.

Капитан прервал его взрывом смеха. Братья надели плащи и пошли в церковь Святого Якова, где уже собралось многочисленное и высокое общество.

V. Проповедь

В глотке широк – отхватить ли часы, отмахать ли обедню, отжарить ли всенощную; говоря вообще, одним словом: настоящий монах, какой только бывал когда-либо с тех пор, как монашествующий мир монашил монашевщиной.

Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль, I, 27

Когда капитан Жорж со своим братом проходили через церковь, ища удобное место поближе к проповеднику, внимание их привлекли взрывы хохота, доносившегося из ризницы; они зашли туда и увидели толстого человека с веселым и румяным лицом, одетого в платье святого Франциска, в оживленной беседе с полудюжиной богато одетых молодых людей.

— Ну, дети мои, — говорил он, — поторапливайтесь: дамам не терпится; задайте мне тему.

— Скажите нам о том, какие проделки выкидывают эти дамы со своими мужьями, — сказал один из молодых людей, в котором Жорж сейчас же узнал Бевиля.

— Тема богатая, мой мальчик, согласен; но что же я тут могу сказать после проповеди Понтуазского проповедника? «Сейчас я запущу своей камилавкой в голову той, что больше всех наставила рогов своему мужу». При этом все женщины в церкви закрыли головы рукой или покрывалом, чтобы защититься от удара.

— О отец Любен, — сказал другой, — я только ради вас пришел на проповедь; расскажите нам сегодня что-нибудь веселенькое. Поговорите немного о любви, теперь этот грех очень в моде.

— В моде? Да, у вас, господа, которым всего двадцать пять лет, в моде. Но мне уже за пятьдесят. В мои годы нельзя уже говорить о любви. Я даже позабыл, какой это такой грех-то.

— Не ломайтесь, отец Любен, вы и теперь, как и встарь, могли бы порассуждать на эту тему; мы вас знаем.

— Да, скажите проповедь насчет любострастия, — прибавил Бевиль, — все дамы найдут, что эта тема так и брызжет из вас.

Монах в ответ на эту шутку подмигнул, и в глазах у него сквозили гордость и удовольствие, что его упрекают в пороке, свойственном людям молодым.

— Нет, об этом я не буду говорить в пропове-

ди, а то все придворные красавицы не захотят больше ходить ко мне на исповедь, если я в этом отношении покажу себя слишком строгим; а по совести говоря, если бы я коснулся этого, то лишь для того, чтобы показать, как обрекают себя на вечную муку... ради чего?.. ради минутного наслаждения.

— Ну так как же... Ах, вот и капитан! Скорее, Жорж, дайте нам тему для проповеди! Отец Любен взялся сказать проповедь на любую тему, какую мы ему зададим.

— Верно, — подтвердил монах, — поспешите, черт меня подери, я уже давно должен был бы быть на кафедре.

— Чума меня заешь, отец Любен, вы чертыхаетесь не хуже короля! — воскликнул капитан.

— Держу пари, что в проповеди он не обойдется без крепкой клятвы! — сказал Бевиль.

— А почему и нет, если захочется? — отважно возразил отец Любен.

— Ставлю десять пистолей, что у вас не хватит смелости.

— Десять пистолей? По рукам!

— Бевиль, — сказал капитан, — я с тобой в половине.

— Нет, нет, — возразил тот, — я хочу один вы-

играть деньги с батюшки; а если он побожится, черт возьми, мне не жалко моих десяти пистолей; крепкое словцо в проповеди стоит таких денег.

— А я вам объявляю, что я уже выиграл, — сказал отец Любен, — я начну свою проповедь прямо тройной божбой. А, господа дворяне, вы думаете, что если у вас рапира на боку да перо на шляпе, так вы одни и умеете божиться? Мы еще посмотрим.

С этими словами он вышел из ризницы и в одну минуту был уже на кафедре. Тотчас же глубокое молчание воцарилось среди присутствующих.

Проповедник обвел глазами толпу, теснившуюся вокруг кафедры, как будто отыскивая того, с кем бился об заклад. И когда он увидел его прислонившимся к столбу прямо против него, он нахмурил брови, подбоченился и тоном рассерженного человека начал так:

— Дорогие братья!

Силой, смертью, кровью…

Шепот удивления и негодования прервал проповедника или, вернее, наполнил преднамеренную паузу.

— …Господа нашего, — продолжал монах гнусавым, весьма благочестивым тоном, — мы спасены и избавлены от ада.

Общий взрыв смеха вторично прервал его. Бевиль вынул из-за пояса кошелек и потряс его напоказ перед проповедником, признаваясь, что проиграл.

— Итак, братья мои, — продолжал невозмутимо брат Любен, — вы довольны, не так ли? Мы спасены и избавлены от ада. Вот прекрасные слова! Вы думаете, теперь нам остается только сложить руки и радоваться? Мы расквитались с противным геенским пламенем. Что касается огня чистилища, это все равно что ожог от свечки, который можно залечить мазью из дюжины обеден. Значит, будем пить, есть и ходить к девкам!

Ах, грешники закоренелые! Так вот на что вы рассчитываете! Ну так вот, брат Любен вам говорит, что вы считали без хозяина.

А вы, господа еретики, гугенотствующие гугеноты, вы воображаете, что Спаситель наш соизволил взойти на крест ради вашего спасения? Что за дурак! Ха-ха, как бы не так! Чтобы ради такой сволочи он стал проливать свою драгоценную кровь! Это значило бы, простите за выражение, метать *бисер* перед *свиньями.* Напротив того, Спаситель наш метал *свиней* к *бисеру,* ибо *бисер* жемчужный находится в море, а Господь Бог ввергнул две тысячи свиней в море.

Et ecce impetu abiit lotus grex praeceps in mare[23]. Счастливого пути, господа свиньи! Дай Бог, чтобы все еретики последовали той же дорожкой.

Здесь оратор прокашлялся и остановился на минуту, чтобы осмотреть публику и насладиться впечатлением, которое его красноречие производило на верующих. Он продолжал:

— Итак, господа гугеноты, обращайтесь, выказывайте усердие, не то… куда вы годитесь? Не спасены вы и от ада не избавлены. Итак, повернитесь спиной к вашим проповедям, и да здравствует обедня!

Вы, дорогие братья мои католики, вы уже потираете руки и пальчики облизываете при мысли о преддверии рая. Откровенно говоря, братья мои, до него еще далеко от двора, где вы живете как в раю, — дальше (даже если прямиком идти), чем от Сен-Лазара до ворот Сен-Дени.

Сила, смерть, кровь Господня спасли вас и избавили от ада… Так, освободили вас от первородного греха — согласен. Но берегитесь, как бы сатана снова не уловил вас. А я говорю вам: Circuit quaerens, quem devoret[24].

---

[23] Примечания: 23

«И вот внезапно все стадо стремглав бросилось в море» (*лат.).*

[24] Примечания: 24

«Окрест ходит, ища, кого бы сожрать» (*лат.).*

О братья дорогие, сатана такой фехтовальщик, что даст вперед несколько очков Гран-Жану, Жану Пти и Англичанину, и, верно я вам говорю, крепки его нападения на нас.

Ибо, едва мы сменяем детские платьица на штаны, едва, хочу сказать я, достигаем мы возраста, когда можем подвергнуться смертному греху, как мессир сатана зовет нас на жизненный Пре-о-Клер. Оружие, что мы с собой приносим, — Божественные таинства; им же принесен целый арсенал: это — наши прегрешения, наступательное и вместе с тем оборонительное оружие.

Ясно вижу, как выходит он на место поединка: *Чревоугодие* у него на чреве вместо панциря; *Леность* служит ему шпорами; у пояса находится *Любострастие,* опасная шпага; *Зависть* — его кинжал; как латник — стальную каску носит он на голове *Гордость;* в кармане хранит он *Скупость*, чтобы пользоваться ею в случае надобности; что же касается *Гнева* с оскорблениями и всем, что за этим следует, он держит их в своем рту, из чего вы можете видеть, что он вооружен до зубов.

После того как Господь Бог даст знак к началу, сатана не обращается к вам, как воспитанный дуэлянт, со словами: «Сударь мой, встали ли вы

в позицию?» — нет, он, не предупреждая, очертя голову накидывается на христианина. Христианин, заметив, что ему грозит удар в живот от *Чревоугодия,* отражает его посредством *Поста.*

Здесь проповедник отстегнул распятие и для большей вразумительности принялся им фехтовать, делая выпады, воспроизводя парады, словно учитель фехтования, который рапирой захотел бы продемонстрировать опасные удары.

— Сатана, после ретировки, делает большой выпад посредством *Гнева;* затем, отклонив ваше внимание притворной атакой с помощью *Лицемерия,* он наносит вам удар в четвертой позиции *Гордостью.* Христианин сначала прикрывается *Терпением,* потом отвечает на *Гордость* ударом *Смирения.* Сатана в раздражении колет его сначала *Любострастием,* но, видя, что нападение его отпарировано *Умерщвлением плоти,* очертя голову бросается на противника, давая ему подножку *Леностью* и подкалывая кинжалом *Зависти* и в то же время стараясь в сердце его вселить *Скупость.* Тогда-то нужно ему иметь крепкие ноги и зоркие глаза. Посредством *Труда* можно обезвредить подножку *Лености,* от уколов *Зависти* защититься *Любовью к ближнему* (весьма затруднительная оборона, братья мои); что

же касается ударов *Скупости*, только *Милосердие* может их предотвратить.

Но, братья мои, есть между вами такие люди, которые, будучи атакованы всеми способами и по всем правилам, могли бы найти всегда готовый отпор для нападения врага? Не одного единоборца вижу я повергнутым на землю, и тогда, если он не прибегнет спешно к *Сокрушению сердечному*, он погиб; последним же этим средством следует пользоваться скорее до того, как наступила надобность, чем после. Вы, придворные господа, думаете, что произнести «грешен» не много возьмет времени. Увы, братья мои, как много бедных умирающих хотят сказать «грешен», и голос у них прерывается на «гре…», и — крак! — вот уж и взял душу черт — ищи ее, свищи.

Брат Любен еще некоторое время продолжал развивать свое красноречие; и, когда он оставил кафедру, какой-то любитель изящного стиля заметил, что в его проповеди, длившейся не больше часа, заключалось тридцать семь острот и бесчисленное количество блестков ума, вроде тех, что я только что приводил. Католики и протестанты одинаково одобряли проповедника, который долго оставался у подножия кафедры, окруженный тесным кругом людей, сошедшихся со всех кон-

цов церкви, чтобы принести ему поздравления.

Во время проповеди Мержи несколько раз справлялся, где графиня де Тюржи; брат его тщетно искал ее глазами. Или красавицы графини не было в церкви, или она скрывалась от своих поклонников в каком-нибудь темном углу.

— Хотелось бы мне, — говорил Мержи, выходя, — хотелось бы мне, чтобы все эти люди, пришедшие на эту бессмысленную проповедь, послушали сейчас же какие-нибудь простые наставления наших священнослужителей.

— Вот графиня де Тюржи… — сказал тихонько капитан, пожимая ему руку.

Мержи повернул голову и увидел, как под темным порталом с быстротой молнии прошла богато одетая женщина рука об руку с белокурым молодым человеком, тоненьким, щуплым, с изнеженным лицом, в костюме которого замечалась небрежность, быть может нарочитая. Толпа поспешно и с некоторым ужасом расступилась перед ними. Кавалер этот и был ужасный Коменж.

Мержи едва поспел бросить взгляд на графиню. Он не мог дать себе отчета, каковы черты ее лица, а между тем они произвели на него сильное впечатление; но Коменж ему до смерти

не понравился, хотя он не мог понять, почему его возмущало, что такой слабый с виду человек обладает уже такой известностью в разных областях.

«Случись, — подумал он, — что графиня полюбила бы кого-нибудь в этой толпе, гнусный Коменж его убил бы. Он дал клятву убивать всех, кого она полюбит». Невольно он положил руку на рукоятку шпаги, но сейчас же устыдился такого порыва. «В конце концов, какое мне дело? Я не завидую ему за его добычу, которую к тому же я еле видел». Однако мысли эти оставили в нем тягостное впечатление, и все время, покуда они шли от церкви до дома капитана, он хранил молчание.

Ужин уже был накрыт, когда они пришли.

Мержи ел мало и, как только убрали со стола, хотел вернуться в свою гостиницу. Капитан согласился отпустить его, взяв обещание, что на следующий день он окончательно переедет к нему в дом.

Нет надобности говорить, что у своего брата Мержи нашел деньги, лошадь и т. д., кроме того, адрес придворного портного и единственного продавца, где всякий дворянин, желающий понравиться дамам, мог купить перчатки, брыжи

«смущение» и башмаки «подъем» или «подъемный мост».

Наконец, когда уже совсем стемнело, он вернулся в свою гостиницу в сопровождении двух лакеев своего брата, вооруженных пистолетами и шпагами, так как в те времена парижские улицы после восьми часов вечера были более опасны, чем в наши дни дорога между Севильей и Гренадой.

VI. Глава партии

Jocky of Norfolk be not too bold,
For Dickon thy matser is bought and sold.

Shakespeare. The Tragedy of King Richard III, V, 3

Джекки Норфолькский, умерь-ка спесь,
Хозяин твой Дик уж продан весь.

Шекспир. Король Ричард III, V, 3

Вернувшись в свою скромную гостиницу, Бернар де Мержи печально осмотрел потертую и потускневшую обстановку. Когда он в уме сравнивал стены своей комнаты, выбеленные когда-то, теперь потемневшие и закопченные, с блестящими шелковыми обоями только что покинутых им апартаментов, когда он вспомнил хорошенькую раскрашенную Мадонну и увидел на стенке перед собой только старую иконку, тогда в душу его вошла мысль довольно низменная.

Эта роскошь, изящество, благосклонность дам, благоволение короля, вообще множество желанных вещей — все это досталось Жоржу за одно слово, которое так легко произнести, ибо достаточно, чтобы оно слетело с губ, а в глубину сердца

никто не заглядывал. На память ему сейчас же пришли имена многих протестантов, которые, отрекшись от своей веры, достигли высоких почестей, и так как дьявол всем пользуется как оружием, он вспомнил притчу о блудном сыне, но с очень странным выводом: что обращенному гугеноту больше будут радоваться, чем оставшемуся верным католику.

Мысли эти, приходившие ему в голову как бы помимо его воли, под разными видами неотвязно преследовали его, в то же время внушая ему отвращение. Он взял женевскую Библию, принадлежавшую его матери, и некоторое время читал. Немного успокоившись, он отложил книгу; перед тем как смежить глаза, он мысленно произнес клятву жить и умереть в вере своих отцов.

Но, несмотря на чтение и клятву, он и во сне переживал отголоски приключений за день. Снились ему пурпурные шелковые занавески, золотая посуда; затем столы были опрокинуты, блеснули шпаги, и кровь полилась, смешиваясь с вином. Потом изображение Мадонны сделалось живым: она вышла из своей рамы и начала танцевать перед ним. Он старался запечатлеть ее черты в своей памяти и только тогда заметил, что на ней была черная маска. Но через отверстия

маски видны были синие глаза и две полоски белой кожи… Шнурки у маски развязались, и показалось небесное лицо, но очертания его были неопределенны; оно похоже было на отражение нимфы во взбаламученной воде. Невольно он опустил глаза, сейчас же поднял их опять, но увидел только ужасного Коменжа с окровавленной шпагой в руке.

Встал он рано, велел отнести свой легковесный багаж к брату и, отказавшись идти осматривать с ним городские достопримечательности, отправился один в особняк Шатильон, чтобы передать адмиралу письмо, порученное ему отцом.

Двор особняка он нашел переполненным слугами и лошадьми, так что ему стоило большого труда проложить себе дорогу и добраться до обширных сеней, где толпились конюхи и пажи, составлявшие, несмотря на то что были вооружены только шпагами, внушительную охрану вокруг адмирала. Одетый в черное привратник, бросив взгляд на кружевной воротник Мержи и золотую цепь, одолженную ему братом, не стал чинить никаких препятствий и сейчас же ввел его в галерею, где находился его господин.

Вельможи, дворяне, евангелические священники, человек больше сорока, стоя в почтительных

позах, с непокрытыми головами, окружали адмирала. Он был одет во все черное, с большой простотой. Роста он был высокого, но немного горбился, морщины на лысом лбу его являлись следствием скорее боевых трудов, нежели возраста. Длинная седая борода опускалась ему на грудь. Впалые от природы щеки казались еще более впалыми от раны, глубокий рубец от которой едва могли скрыть длинные усы; в битве при Монконтре пистолетный выстрел пробил ему щеку и повредил несколько зубов. Выражение его лица было скорее печально, нежели сурово; ходили слухи, что со смерти храброго Дандело[25] никто не видел у него на губах улыбки. Он стоял, опершись рукой на стол, заваленный картами и планами, посреди которых возвышалась толстейшая Библия in quarto[26]. Разбросанные по картам и бумагам зубочистки напоминали о привычке, часто служившей предметом шуток. В конце стола сидел секретарь, по-видимому весьма занятый писанием писем, которые затем он давал адмиралу на подпись.

При виде этого великого человека, который

---

[25] Примечания: 25
Брат Г. де Колиньи.

[26] Примечания: 26
В четверть листа (*лат.*).

для своих единоверцев был выше короля, так как в лице его соединялись герой и святой, Мержи почувствовал прилив такого уважения, что, приблизясь к нему, невольно опустился на одно колено. Адмирал, удивленный и рассерженный столь необычным выражением почтения, дал ему знак подняться и с некоторой досадой взял письмо, переданное ему юным энтузиастом. Он бросил взгляд на гербовую печать.

— Это письмо от моего старого товарища барона де Мержи, — произнес он, — к тому же вы, молодой человек, так схожи с ним, что, вероятно, приходитесь ему сыном.

— Батюшка очень хотел бы, сударь, чтобы возраст его позволил ему приехать лично засвидетельствовать вам свое почтение.

— Господа, — сказал Колиньи, окончив чтение письма и оборачиваясь к окружавшим его людям, — представляю вам сына барона де Мержи, проскакавшего более двухсот миль, чтобы действовать с нами заодно. По-видимому, для Фландрского похода недостатка в добровольцах у нас не будет. Господа, моя просьба — подружиться с этим молодым человеком, к его отцу вы все питаете глубочайшее уважение.

Сейчас же человек двадцать принялись обни-

мать Мержи и предлагать свои услуги.

— Были ли вы уже на войне, друг мой Бернар? — спросил адмирал. — Слышали ли когда-нибудь гром пищалей?

Мержи, покраснев, отвечал, что он еще не имел счастья сражаться за веру.

— Поблагодарите лучше судьбу, молодой человек, что вам не пришлось проливать кровь своих сограждан, — сказал Колиньи с важностью, — благодарение Богу, — прибавил он со вздохом, — гражданская война прекратилась! Вера вздохнула свободнее, и, более счастливый, чем мы, вы обнажите вашу шпагу только против врагов вашего короля и вашей родины. — Затем, положив руку на плечо молодому человеку: — Я уверен, вы оправдаете ваше происхождение. Согласно намерениям вашего отца, сначала вы будете служить среди дворян моей свиты. Когда же мы встретимся с испанцами, овладейте их знаменем — и вы получите чин корнета в моем полку.

— Клянусь вам, — решительно воскликнул Мержи, — при первой же стычке я буду корнетом, или же у моего отца не будет больше сына.

— Хорошо, мой храбрый мальчик, ты говоришь как говорил твой отец. — Затем он подозвал

своего управителя. — Вот мой управитель, мэтр Самюэль. Если тебе понадобятся деньги на экипировку, ты обратишься к нему.

Управитель отвесил Мержи поклон, но тот поспешил поблагодарить и отказаться.

— Мой отец и мой брат, — сказал он, — дают мне вполне достаточно на содержание.

— Ваш брат?.. Капитан Жорж Мержи, который еще со времен первой войны отрекся от веры?

Мержи печально опустил голову; губы его пошевелились, но слов не было слышно.

— Он храбрый солдат, — продолжал адмирал, — но что значит храбрость без страха Божьего! В вашей семье, молодой человек, вы можете найти и образец, которому должно следовать, и пример, которого следует избегать.

— Я постараюсь подражать славным подвигам моего брата… а не его перемене.

— Ну, Бернар, приходите ко мне почаще и считайте меня своим другом. Для добрых нравов место здесь не очень благоприятное, но я надеюсь скоро вывести вас отсюда и провести туда, где будет возможность заслужить славу.

Мержи почтительно поклонился и отошел в толпу приближенных, окружавших адмирала.

— Господа, — произнес Колиньи, продолжая

разговор, прерванный приходом Мержи, — со всех сторон я получаю добрые вести. Руанские убийцы потерпели наказание…

— А тулузские не подверглись каре, — сказал старый священнослужитель с мрачной и фанатической наружностью.

— Вы ошибаетесь, сударь. Известие пришло ко мне только что. Кроме того, в Тулузе учреждена смешанная комиссия[27]. Его величество каждодневно дает нам доказательства того, что правосудие одинаково для всех.

Старый священнослужитель покачал недоверчиво головой.

Какой-то седобородый старик, одетый в черное бархатное платье, вскричал:

— Его правосудие для всех одинаково, да. Шатильонов, Монморанси и Гизов, всех вместе, Карл и достойная его мать хотели бы уничтожить одним ударом!

— Выражайтесь более почтительно о короле, господин де Бонисан, — строго сказал Колиньи, — забудем, забудем наконец старые счеты.

---

[27] Примечания: 27

По мирному договору, которым окончилась третья гражданская война, во многих судах учреждены были судебные комиссии, половина членов в которых исповедовала кальвинистское вероучение. Им надлежало ведать делами между католиками и протестантами.

Да не будет сказано, что католики лучше, чем мы, применяют Божественный завет — забывать оскорбления.

— Клянусь костями моего отца, им это легче сделать, чем нам! — пробормотал Бонисан. — Двадцать три замученных моих родственника не так легко выйдут у меня из памяти.

Он продолжал еще говорить с горечью, как вдруг дряхлый старик, с отталкивающей наружностью, закутанный в серый, до дыр протертый плащ, вошел в галерею, пробрался через толпу и передал запечатанную бумагу Колиньи.

— Кто вы такой? — спросил тот, не ломая печати.

— Один из ваших друзей, — отвечал старик хриплым голосом. И сейчас же вышел.

— Я видел, как этот человек сегодня утром выходил из особняка Гиза, — сказал какой-то дворянин.

— Он колдун, — сказал другой.

— Отравитель, — сказал третий.

— Герцог Гиз подослал его отравить господина адмирала.

— Меня отравить? — сказал адмирал, пожимая плечами. — Отравить меня посредством письма?

— Вспомните о перчатках королевы Наварр-

ской![28] — воскликнул Бонисан.

— В отравленные перчатки я так же не верю, как в отравленное письмо, но верю, что герцог Гиз не может совершить низкого поступка.

Он собирался распечатать письмо, как вдруг Бонисан бросился на него и вырвал письмо из рук со словами:

— Не распечатывайте его, иначе вы вдохнете смертельный яд!

Все присутствующие стеснились вокруг адмирала, который делал некоторые усилия, чтобы освободиться от Бонисана.

— Я вижу, как из письма выходит черный дым! — закричал чей-то голос.

— Бросьте его, бросьте его! — раздался общий крик.

— Отстаньте от меня, сумасшедшие! — говорил адмирал, отбиваясь. Во время этой в своем роде борьбы бумага упала на пол.

— Самюэль, друг мой, — воскликнул Бонисан, — покажите себя верным слугой! Вскройте-ка этот пакет и передайте его вашему господину, только

---

[28] Примечания: 28

«Причиной ее смерти, — пишет д'Обинье ("Всеобщая история", т. II, гл. 2), — был яд, который через надушенные перчатки проник ей в мозг. Изготовлен он был по системе мессира Рене, флорентинца, сделавшегося после этого всем ненавистным, даже врагам этой королевы».

после того, как убедитесь, что оно не содержит в себе ничего подозрительного.

Поручение не было по вкусу управителю. Не колеблясь, Мержи поднял письмо и сломал печать. Тотчас же вокруг него опустело, все отодвинулись, как будто посредине помещения сейчас разорвется мина; между тем никакого зловредного пара не вышло; никто даже не чихнул. В этом конверте, которого все так боялись, был только довольно грязный лист бумаги с несколькими строчками — вот и все.

Те же самые лица, которые первыми отодвинулись, первыми же и подошли со смехом, как только всякий намек на опасность исчез.

— Что означает эта наглость? — воскликнул Колиньи с гневом, освободившись наконец из рук Бонисана. — Распечатывать письмо, которое адресовано мне?

— Господин адмирал, если бы случайно в этой бумаге находился какой-либо яд, столь тонкий, что вдыхание его причинило бы всем смерть, лучше бы было пасть жертвой молодому человеку вроде меня, чем вам, существование которого столь ценно для нашей религии.

Шепот восхищения послышался вокруг него. Колиньи пожал ему руку с нежностью и, минуту

помолчав, произнес с добротой:

— Раз ты уже распечатал это письмо, то прочти нам, что в нем содержится.

Мержи сейчас же прочел следующее: «Небо на западе озарено кровавым светом. Звезды исчезли с небосвода, и пламенные мечи были видны в воздухе. Нужно быть слепым, чтобы не понимать, что пророчат эти знамения. Гаспар, опояшься мечом, надень шпоры, иначе через несколько дней *сойки* будут питаться твоим мясом».

— Он под именем сойки[29] разумеет Гизов, — сказал Бонисан.

Адмирал пренебрежительно пожал плечами, и все окружающие молчали, но было очевидно, что пророчество произвело некоторое впечатление на присутствовавших.

— Сколько в Париже народа, занятого глупостями! — холодно произнес Колиньи. — Разве не говорил кто-то, что в Париже около десяти тысяч бездельников, живущих только тем, что предсказывают будущее?

— Советом этим пренебрегать не следует, — сказал какой-то пехотный капитан, — герцог Гиз достаточно открыто заявил, что он не будет спать

---

[29] Примечания: 29

Непереводимая игра слов: geai (*фр.*) — сойка и gé — буква G, с которой начинается фамилия Guise (Гиз). — *Примеч. пер.*

спокойно, пока не всадит вам шпаги в живот.

— Убийце так легко к вам проникнуть, — прибавил Бонисан. — На вашем месте я бы не иначе отправлялся в Лувр, как надев панцирь.

— Полно, товарищ, — ответил адмирал, — убийцы не нападают на таких старых солдат, как мы с вами. Они нас больше боятся, чем мы их.

Затем в течение некоторого времени он беседовал о Фландрской кампании и положении религиозных дел. Многие лица передавали ему прошения, чтобы он доставил их королю; он принимал их милостиво, к каждому просителю обращался с ласковыми словами. Пробило десять часов; он велел подать себе шляпу и перчатки, чтобы отправляться в Лувр. Некоторые из присутствующих распрощались с ним; большинство последовало за ним, чтобы служить ему свитой и охраной в одно и то же время.

VII. Глава партии

(Продолжение)

Завидя брата, капитан еще издали закричал ему:

— Ну что же, видел ты Гаспара Первого? Как он тебя принял?

— Так милостиво, что я не забуду этого никогда.

— Я очень рад этому.

— О Жорж, что за человек!..

— Что за человек? Приблизительно такой же, как и всякий другой; у него немного больше честолюбия и немного больше терпения, чем у моего лакея, не говоря о разнице в происхождении. То, что он родился от господина де Шатильона, очень много для него сделало.

— Не происхождение же преподало ему воинскую науку и сделало первым полководцем нашего времени?

— Конечно, нет, но заслуги его не помешали тому, что он постоянно терпел поражения. Полно, оставим это. Сегодня ты повидал адмирала, это прекрасно — всякому князю свой почет; тебе и

следовало начать с засвидетельствования своего почтения господину де Шатильону. А теперь… хочешь завтра поехать на охоту? Там я представлю тебя кое-кому, кого тоже стоит повидать. Я говорю про Карла, короля Франции.

— Мне участвовать в королевской охоте?

— Конечно; ты увидишь прекраснейших дам и прекраснейших людей, какие есть при дворе. Съезд назначен в Мадридском дворце, и мы должны быть там завтра ранним утром. Я дам тебе свою серую в яблоках и ручаюсь, что пришпоривать ее не придется: она и так от собак не отстает.

Лакей передал Мержи письмо, только что принесенное королевским пажом. Мержи открыл его и удивился, равно как и брат его, увидя там приказ о производстве его в корнеты. Королевская печать была прикреплена к этому документу, составленному по старой форме.

— Что за черт! — воскликнул Жорж. — Вот совершенно неожиданная милость. Но как же Карл Девятый, который не знает о твоем существовании, мог прислать тебе приказ о производстве в корнеты?

— Я думаю, что обязан этим господину адмиралу, — сказал Мержи. И тут он рассказал своему брату историю таинственного письма, которое он

распечатал с таким мужеством. Капитан страшно смеялся над концом приключения и безжалостно начал издеваться по этому поводу.

VIII. Диалог между читателем и автором

— Ах, господин автор, что за прекрасный случай для вас нарисовать ряд портретов, и каких портретов! Сейчас вы поведете нас в Мадридский замок, в самый центр двора. И какого двора! Сейчас вы нам покажете этот франко-итальянский двор. Познакомите нас по очереди со всеми выдающимися личностями. Сколько вещей сейчас мы узнаем! И как должен быть интересен день, проведенный среди такого количества великих людей!

— Увы, господин читатель, о чем вы меня просите? Я был бы очень рад обладать талантом, нужным для того, чтобы написать историю Франции; я бы не стал писать побасенок. Но скажите на милость, почему вы хотите, чтобы я знакомил вас с лицами, которые не должны играть никакой роли в моем романе?

— Вы сделали большой промах, что не дали им какой-нибудь роли. Как! Вы переносите меня в тысяча пятьсот семьдесят второй год и думаете обойтись без характеристик стольких замеча-

тельных людей? Полно! Тут нечего колебаться. Начинайте; я даю вам первую фразу: «*Двери в гостиную открылись, и можно было видеть…*»

— Но, господин читатель, в Мадридском замке не было гостиной — гостиные…

— Ну хорошо, тогда: «*Большой зал наполнен толпой… и т. п. … среди которой можно было заметить…*»

— Кого же вы хотите там заметить?

— Черт возьми! *Primo*[30], Карла Девятого.

– *Secundo?*[31]

— Постойте. Сначала опишите его костюм, потом вы сделаете его физический портрет и, наконец, составите его нравственную характеристику. Такой дорогой теперь идут все романисты.

— Его костюм? На нем было охотничье платье с большим охотничьим рогом на перевязи.

— Вы очень кратки.

— Что касается его физического портрета… погодите. Ей-богу, вы бы отлично сделали, если бы посмотрели его бюст в Ангулемском музее. Он находится во втором зале, номер девяносто восемь.

---

[30] Примечания: 30
Во-первых (*лат.*).

[31] Примечания: 31
Во-вторых? (*лат.*)

— Но, господин автор, я живу в провинции; что же, вы хотите, чтобы я специально приехал в Париж посмотреть бюст Карла Девятого?

— Ну хорошо, представьте себе молодого человека, довольно хорошо сложенного, с головой, немного ушедшей в плечи; он вытягивает шею и неловко выставляет вперед лоб; нос у него немного толстоват; губы у него тонкие, рот широкий, верхняя губа очень выдается; цвет лица землистый; большие зеленые глаза никогда не глядят прямо на человека, с которым он разговаривает. Впрочем, в глазах его нельзя прочитать «Варфоломеевская ночь» или что-нибудь в таком роде. Совершенно нельзя. Выражение у него скорей тупое и беспокойное, чем жестокое и свирепое. Вы представите его себе довольно точно, вообразив какого-нибудь молодого англичанина, входящего в гостиную, где все гости уже сидят. Он идет вдоль шпалеры разряженных дам, которые молчат при его проходе. Зацепив за платье одной из них, толкнув стул у другой, с большим трудом он добирается до хозяйки дома; только тогда он замечает, что, задев за колесо при выходе из кареты, испачкал грязью рукав своего фрака. Вам, наверное, случалось видеть такие перепуганные физиономии; может быть, даже вы сами смотре-

лись в зеркало, покуда светский опыт не дал вам окончательной уверенности в благополучности вашего появления…

— А Катерина Медичи?

— Катерина Медичи? Черт возьми, я не думал об этом. Полагаю, что это имя в последний раз пишется мной: это толстая женщина, еще свежая, по слухам, для своего возраста хорошо сохранившаяся, с толстым носом и поджатыми губами, как будто у человека, испытывающего первые приступы морской болезни. Глаза у нее полузакрыты, каждую минуту она зевает; голос у нее монотонный, и она совершенно одинаково произносит: «Ах, кто меня избавит от этой ненавистной беарнезки?» и «Мадлен, дайте сладкого молока моей неаполитанской собаке».

— Отлично! Но вложите в ее уста какие-нибудь более примечательные слова. Она только что велела отравить Жанну д‘Альбре, по крайней мере прошла такая молва; это должно было отразиться на ней.

— Нисколько! Потому что, если бы это было заметно, куда девалось бы столь знаменитое притворство? К тому же в данный день, по самым точным сведениям, она говорила только о погоде, ни о чем другом.

— А Генрих Четвертый? А Маргарита Наварр-ская? Покажите нам Генриха, отважного, галант-ного, главным образом доброго. Пусть Маргарита тайком сует в руку пажу любовную записку в то время, как Генрих, со своей стороны, пожимает ручку одной из придворных дам Катерины.

— Что касается Генриха Четвертого, никто бы не угадал в этом ветреном мальчике героя и будущего короля Франции. Он уже позабыл о своей матери, умершей две недели тому назад. Разговаривает он с простым доезжачим, вступив в бесконечные рассуждения насчет следов оленя, которого сейчас поднимут. Я вас избавлю от этих рассуждений, особенно если вы, на что я надеюсь, не охотник.

— А Маргарита?

— Ей нездоровилось, и она не выходила из своей комнаты.

— Хороший способ отделываться! А герцог д'Ан-жу? А принц де Конде? А герцог де Гиз, а Таванн, Рец, Ларошфуко, Телиньи? А Таре, а Мерю? А столько еще других?

— Ей-богу, вы их знаете лучше, чем я. Я буду рассказывать о своем друге Мержи.

— Ах, я замечаю, что в вашем романе я не найду того, чего искал.

— Боюсь, что так.

IX. Перчатка

Cayose un escarpin de la derecha
Mano, que de la izquierda importa poco
A la señora Blanca', y amor loco
A dos fida'gos disparo la flecha.

Lope de Vega. El guante de Doña Blanca, II, 10

Перчатка с правой ручки упадает
У доньи Бланки (с левой бы не важно!),
И вот любовь безумно и отважно
В идальго двух свою стрелу пускает.

Лопе де Вега. Перчатка доньи Бланки, II, 10

Двор находился в Мадридском замке. Королева-мать, окруженная своими дамами, ждала в своей комнате, что король, перед тем как сесть на лошадь, придет с ней позавтракать; а король в сопровождении принцев крови медленно проходил по галерее, где находились все мужчины, которые должны были принять участие в королевской охоте. Он рассеянно слушал фразы, с которыми обращались к нему придворные, и часто отвечал на них довольно резко. Когда он

проходил мимо двух братьев, капитан преклонил колено и представил королю нового корнета. Мержи глубоко поклонился и поблагодарил его величество за честь, которой он удостоился раньше, чем заслужил ее.

— А! Так это о вас говорил мне отец адмирал? Вы брат капитана Жоржа?

— Да, сир.

— Вы католик или гугенот?

— Сир, я протестант.

— Я спрашиваю из простого любопытства, потому что черт меня побери, если хоть сколько-нибудь интересуюсь тем, какую религию исповедуют люди, которые мне хорошо служат.

После этих достопамятных слов король вошел в комнаты королевы.

Через несколько минут по галерее рассыпался рой женщин, словно посланный для того, чтобы придать кавалерам терпение. Я буду говорить только об одной из красавиц при дворе, столь плодовитом красавицами; я имею в виду графиню де Тюржи, которой суждено играть видную роль в этом повествовании. На ней был надет костюм амазонки, легкий и вместе с тем изящный, и она еще не надела маски. Агатовые волосы казались еще чернее от ослепительной белизны одинако-

во повсюду бледной кожи; крутые дуги бровей, слегка соприкасаясь концами, придавали ее наружности жестокий или, скорее, надменный вид, не отнимая нисколько прелести от совокупности ее черт. Сначала в ее голубых глазах заметна была только пренебрежительная гордость; но вскоре, во время оживленного разговора, стало видно, как зрачок у нее увеличился, расширился, как у кошки, взоры ее сделались пламенными, так что самый заядлый фат не мог бы избежать их магического действия.

— Графиня де Тюржи! Как она прекрасна сегодня! — шептали придворные; и каждый проталкивался вперед, чтобы лучше ее рассмотреть. Мержи, находившийся как раз на ее пути, был так поражен ее красотой, что оцепенел и не подумал посторониться, чтобы дать ей дорогу, как вдруг широкие шелковые рукава графини коснулись его камзола.

Она заметила его волнение, может быть, не без удовольствия, и удостоила задержать на минуту свои взоры на глазах Мержи, которые тот тотчас потупил, меж тем как густой румянец покрыл его щеки. Графиня улыбнулась и, проходя, уронила перчатку перед нашим героем, который, остолбенев и вне себя, даже не догадался поднять ее.

Сейчас же белокурый молодой человек (то был не кто иной, как Коменж), находившийся позади Мержи, грубо толкнул его, чтобы пройти вперед, схватил перчатку и, почтительно поцеловав ее, передал госпоже де Тюржи. Та, не поблагодарив его, повернулась к Мержи и некоторое время смотрела на него с уничтожающим презрением; потом, заметив около себя капитана Жоржа, она сказала очень громко:

— Скажите, капитан, откуда взялся этот увалень? Судя по его любезности, наверное, гугенот какой-нибудь?

Общий взрыв хохота окончательно смутил несчастный объект этих насмешек.

— Это мой брат, сударыня, — ответил Жорж негромко, — он только три дня как в Париже и, по чести, не более неловок, чем был Лонуа раньше, пока вы не позаботились его обтесать.

Графиня слегка покраснела.

— Злая шутка, капитан. Не говорите дурного о покойниках. Ну, дайте мне руку; мне надо поговорить с вами по поручению одной дамы, которая не очень-то вами довольна.

Капитан почтительно подал ей руку и отвел в амбразуру отдаленного окна; но на ходу она еще раз обернулась, чтобы взглянуть на Мержи.

Мержи стоял еще ослепленный появлением прекрасной графини, сгорая желанием смотреть на нее и не смея поднять на нее глаз, как вдруг он почувствовал, что его тихонько хлопают по плечу. Он обернулся и увидел барона де Водрейля, который, взяв его за руку, отвел в сторону, чтобы, как он сказал, поговорить без помехи.

— Дорогой друг, — сказал барон, — вы еще новичок в здешних местах и, может быть, не знаете, как надо вести себя.

Мержи с удивлением посмотрел на него.

— Ваш брат занят и не может дать вам совета; если позволите, я заменю его.

— Я не знаю, сударь, что…

— Вас жестоко оскорбили, и, видя вас в задумчивости, я не сомневался, что вы обдумываете средства мщения.

— Мщение? Но кому? — спросил Мержи, покраснев до корней волос.

— Разве маленький Коменж только что не толкнул вас? Весь двор видел, как происходило дело, и ждет, что вы примете это близко к сердцу.

— Но, — возразил Мержи, — в зале, где так много народу, нет ничего удивительного, что кто-нибудь меня нечаянно и толкнул.

— Господин де Мержи, я не имею чести быть

близко знакомым с вами, но ваш брат мне большой друг, и он может подтвердить вам, что я, насколько это возможно, применяю на практике Божественный завет прощать обиды. Я не хотел бы втягивать вас в серьезную ссору, но в то же время я считаю своей обязанностью заметить вам, что Коменж толкнул вас не *нечаянно.* Он толкнул вас потому, что хотел нанести вам оскорбление, и, даже если бы он вас не толкнул, тем не менее он вас оскорбил, потому что, подымая перчатку Тюржи, он захватил право, принадлежавшее вам. Перчатка лежала у ваших ног — *ergo*[32], вам *одному* принадлежало право поднять ее и вернуть владелице... Да вот, обернитесь, и вы увидите, как в конце галереи Коменж показывает на вас пальцем и издевается над вами.

Мержи обернулся и увидел Коменжа, окруженного пятью-шестью молодыми людьми, которым он со смехом что-то рассказывал, а те, по-видимому, слушали его с любопытством. Ничто не доказывало, что речь в этой компании идет о нем; но под влиянием слов своего сострадательного советника Мержи почувствовал, как в сердце к нему прокрадывается бешеный гнев.

---

[32] Примечания: 32
Следовательно (*лат.*).

— Я буду искать с ним встречи после охоты, — сказал он, — и сумею…

— О, не откладывайте никогда таких хороших решений. К тому же, вызывая вашего противника сейчас же после нанесения оскорбления, вы гораздо меньше грешите перед Господом, чем делая это через промежуток времени, достаточный для размышления. Вы вызываете на поединок в минуту запальчивости, что не является смертным грехом; если же вы потом деретесь на самом деле, так только для того, чтобы избегнуть более тяжкого прегрешения — неисполнения своего обещания… Но я забываю, что разговариваю с протестантом. Как бы то ни было, условьтесь с ним сейчас же о месте встречи; я сейчас сведу вас.

— Надеюсь, он не откажется принести мне должные извинения?

— Разуверьтесь на этот счет. Коменж еще ни разу не произнес: «Я был не прав». В конце концов, он вполне порядочный человек и не откажет вам в удовлетворении.

Мержи стоило труда оправиться от волнения и принять равнодушный вид.

— Если мне было нанесено оскорбление, — сказал он, — он должен дать мне удовлетворение.

Каково бы оно ни было, я сумею его потребовать.

— Превосходно, юный храбрец! Мне нравится ваша отвага, так как вам небезызвестно, что он лучший среди нас фехтовальщик. Черт возьми! Оружием владеет этот господин прекрасно. Он учился в Риме у Брамбиллы, и Жан Пти больше не хочет выступать против него.

При этих словах он внимательно всматривался в несколько бледное лицо де Мержи, которого тем не менее, по-видимому, больше волновало само оскорбление, чем страшили его последствия.

— Я охотно предложил бы вам свои услуги в этом деле в качестве секунданта, но, кроме того, что я завтра причащаюсь, я условился с господином де Рейнси и не могу обнажить шпагу ни против кого другого[33].

— Благодарю вас, сударь. Если дело обострится, моим секундантом будет мой брат.

— Капитан — большой знаток в подобного рода делах. А пока что я приведу вам сейчас Коменжа, чтобы вы с ним объяснились.

Мержи поклонился и, отвернувшись к стенке, стал обдумывать фразы для вызова и старался придать лицу подобающее выражение.

---

[33] Примечания: 33

Существовало правило у заправских дуэлистов: не вступать в новую ссору, покуда не были сведены счеты за старую.

Вызов следует сделать с известной грацией, которая, как и многое другое, приобретается навыком. Наш герой в первый раз был в деле, поэтому он чувствовал себя в некотором замешательстве; но в данную минуту он боялся не столько удара шпаги, сколько каких-нибудь слов, которые не были бы достойны истинного дворянина. Только успел он составить в уме твердую и вежливую фразу, как барон де Водрейль тронул его за руку — и фраза сейчас же вылетела у него из головы.

Коменж со шляпой в руке отвесил ему учтиво-наглый поклон и заговорил медовым голосом:

— Вы желали говорить со мной, сударь?

От гнева кровь бросилась в лицо Мержи; он быстро ответил более твердым тоном, чем мог надеяться:

— Вы вели себя по отношению ко мне нагло, и я желаю получить от вас удовлетворение.

Водрейль одобрительно кивнул головой. Коменж выпрямился и, подбоченившись, что тогда считалось необходимым в подобных случаях, произнес очень серьезно:

— Вы являетесь «истцом», сударь, — следовательно, мне, как «ответчику», предоставляется право выбора оружия.

— Назовите, какое вам подходит.

Коменж с минуту как бы соображал.

— Длинная шпага, — сказал он, — хорошее оружие, но раны от нее могут обезобразить человека, а в нашем возрасте, — добавил он с улыбкой, — не очень приятно показываться своей любовнице со шрамом по самой середине лица. Рапира делает маленькую дырочку, но этого вполне достаточно (он опять улыбнулся). Итак, я выбираю рапиру и кинжал.

— Отлично, — ответил Мержи и хотел удалиться.

— Постойте! — закричал Водрейль. — Вы позабыли условиться о времени и месте.

— Все придворные дерутся обычно на Пре-о-Клер, — сказал Коменж, — и если у господина де Мержи нет в виду какого-нибудь другого излюбленного места…

— Хорошо, на Пре-о-Клер.

— Что касается времени… я не встану, по известным мне причинам, раньше восьми часов… Понимаете… Я сегодня не ночую дома и не смогу быть на Пре-о-Клер раньше девяти часов.

— Значит, в девять часов.

Посмотрев в сторону, Мержи заметил довольно близко от себя графиню де Тюржи, которая уже

покинула капитана, оставив его в разговоре с другой дамой. Понятно, что при виде прекрасной виновницы этого опасного дела наш герой постарался придать своим чертам еще большее выражение торжественности и напускной беспечности.

— С некоторых пор, — сказал Водрейль, — в моду вошло драться в красных штанах. Если у вас их нет наготове, я пришлю пару сегодня вечером. Кровь на них не заметна, и это более опрятно.

— Я считаю это ребячеством, — заметил Коменж.

Мержи неловко улыбнулся.

— Итак, друзья мои, — сказал тогда барон де Водрейль, попавший, по-видимому, в свою стихию, — теперь дело только за тем, чтобы уговориться о секундантах и их помощниках[34] для вашей дуэли.

— Господин де Мержи — новичок при дворе, — сказал Коменж, — и ему, может быть, трудно будет найти двух секундантов; так что, снисходя к нему, я удовольствуюсь одним секундантом.

Мержи с некоторым усилием выдавил на губы подобие улыбки.

---

[34] Примечания: 34

Часто секунданты не были простыми зрителями — они дрались между собой. Говорилось: «удвоить», «утроить» кого-нибудь.

— Невозможно быть более любезным, — сказал барон. — Поистине, одно удовольствие иметь дело с таким покладистым человеком, как господин де Коменж.

— Так как вам понадобится рапира такой же длины, как моя, — продолжал Коменж, — я рекомендую вам Лорана под вывеской «Золотое солнце» на улице Феронри, он лучший оружейник в городе; скажите ему, что я послал вас к нему, и он все вам отлично устроит.

Сказав это, он повернулся на каблуках и с большим спокойствием снова вернулся к компании молодых людей, которую только что покинул.

— Поздравляю вас, господин Бернар, — сказал Водрейль, — вы отлично справились с вызовом. Уверяю вас — превосходно. Коменж не привык, чтобы с ним так разговаривали. Его боятся как огня, особенно с тех пор, как он убил большого Канийяка; потому что, убив два месяца тому назад Сен-Мишеля, он не стяжал себе особенной славы. Сен-Мишель не был очень искусным противником, меж тем как Канийяк убил уже пять-шесть господ, не получив ни одной царапины. Он изучал искусство в Неаполе, у Борелли, и говорят, что Ланзак, умирая, открыл ему секрет удара, которым он наделал столько бед. По прав-

де сказать, — продолжал он, будто говоря сам с собой, — Канийяк обворовал церковь в Оксере и бросил наземь освященные дары; нет ничего удивительного, что его постигло наказание.

Хотя подробности эти нимало не занимали Мержи, он считал своим долгом поддерживать разговор, боясь, как бы в голову де Водрейля не закралось какого-нибудь подозрения, оскорбительного для его храбрости.

— К счастью, — сказал он, — я не обкрадывал никакой церкви и в жизни своей не прикасался к святым дарам, так что подвергаюсь меньшей опасности.

— Должен вам дать еще один совет. Когда вы скрестите оружие с Коменжем, берегитесь одной хитрости с его стороны, стоившей жизни капитану Томазо. Он воскликнул, что острие его шпаги сломалось. Томазо поднял свою шпагу над головой, готовясь встретить рубящий удар; но шпага у Коменжа была целехонька, ибо вошла по самую рукоятку в грудь Томазо, которую тот оставил незащищенной, не ожидая колющего удара… Но вы будете драться на рапирах, так что опасности меньше.

— Постараюсь сделать, что могу.

— Ах да, еще! Выбирайте кинжал с крепкой

чашкой, что очень полезно для парирования. Видите этот шрам у меня на левой руке? Я получил его, так как однажды вышел без кинжала. У меня случилась ссора с молодым Талером, и из-за отсутствия кинжала я едва не лишился левой руки.

— А он был ранен? — спросил рассеянно Мержи.

— Я убил его с помощью обета, данного святому Маврикию, моему покровителю. Возьмите также с собой перевязок и корпии — они не помешают. Не всегда бываешь убит наповал. Хорошо бы также положить вам шпагу на алтарь во время обедни… Впрочем, вы — протестант… Еще одно слово… Не считайте, что менять место унижает достоинство; наоборот, заставьте его побегать; у него короткое дыхание; утомите его и, улучив подходящий момент, делайте выпад на славу, и он — конченый человек.

Он долго еще продолжал бы давать такие же прекрасные советы, если бы громкий звук рогов не возвестил, что король сел на лошадь. Двери в апартаменты королевы открылись, и их величества в охотничьих костюмах направились к крыльцу.

Капитан Жорж, только что оставивший свою

даму, вернулся к брату и, хлопнув его по плечу, сказал с веселым видом:

— Вот счастливый бездельник! Посмотрите на этого маменькина сынка с кошачьими усиками! Стоило ему появиться, и все женщины сходят с ума по нему. Ты знаешь, что прекрасная графиня говорила со мной о тебе четверть часа? Ну, бодрись! Во время охоты скачи рядом с ней и будь как можно любезнее. Но что с тобой? Можно подумать, что ты болен! У тебя такое вытянутое лицо, будто у гугенотского священника, осужденного на костер. Полно, черт возьми, будь повеселее.

— Мне не очень хочется ехать на охоту, и я хотел бы…

— Если вы не примете участия в охоте, — тихо произнес барон де Водрейль, — Коменж подумает, что вы боитесь с ним встретиться.

— Идем! — сказал Мержи, проводя рукой по пылающему лбу.

Он рассудил, что лучше после окончания охоты рассказать брату о своем приключении. «Какой стыд, — подумал он, — если бы госпожа де Тюржи подумала, что я боюсь… если бы она решила, что мысль о предстоящей дуэли препятствует мне насладиться охотой!»

X. Охота

The very butcher of a silk button a duellist, a duellist; a gentleman of the very first house, of the first and second cause: ah! the immortal passado! the punto reverso!

Shakespeare. Romeo and Juliet, II, 4

Самый подлинный пронзатель шелковых пуговиц! Дуэлист! Дуэлист. Человек из самого что ни на есть первого дома. Вызывает на дуэль по первому и по второму пункту. О бессмертный passado! punto reverso!

Шекспир. Ромео и Джульетта, II, 4

Большое количество всадников и амазонок, богато одетых, суетились во дворе замка. Звук труб, лай собак, громкие шутки всадников — все это создавало шум, прелестный для охотничьего слуха и отвратительный для всякого другого человека.

Мержи машинально последовал за своим братом на двор и, сам не зная как, оказался около прекрасной графини, бывшей уже в маске, верхом на горячей андалусской лошади, которая била ногой о землю и нетерпеливо кусала удила;

но даже на этой лошади, которая заняла бы собой всецело внимание обыкновенного всадника, она сидела спокойно, словно на кресле в своей комнате.

Капитан подошел под предлогом подтянуть мундштук у андалузской лошади.

— Вот мой брат, — сказал он амазонке вполголоса, но достаточно громко для того, чтобы Мержи мог слышать. — Обойдитесь с бедным мальчиком поласковей; он сам не свой с того дня, как видел вас в Лувре.

— Я уже забыла его имя, — ответила она довольно резко. — Как его зовут?

— Бернар. Обратите внимание, сударыня, что перевязь его такого же цвета, как ваши ленты.

— Умеет он ездить верхом?

— Вы сами убедитесь в этом.

Он поклонился и поспешил к некой придворной даме из свиты королевы, которой с некоторого времени оказывал знаки внимания. Слегка наклонившись к луке и положив руку на уздечку лошади своей дамы, он вскоре забыл и о брате, и о его прекрасной и гордой спутнице.

— Оказывается, вы знакомы с Коменжем, господин Мержи? — спросила госпожа де Тюржи.

— Я, сударыня?.. Очень мало, — пробормотал

тот с запинкой.

— Но вы только что с ним разговаривали.

— Я разговаривал с ним в первый раз.

— Я, кажется, догадываюсь, о чем вы говорили. — И глаза ее из-под маски словно хотели прочесть в душе Мержи.

Какая-то дама, обратясь к графине, прервала их разговор, к большому удовольствию де Мержи, которого страшно смущала начавшаяся беседа. Тем не менее, сам хорошенько не зная почему, он продолжал ехать рядом с графиней: быть может, он этим хотел доставить некоторое неудовольствие Коменжу, издали за ним следившему.

Выехали из замка. Олень был поднят и убегал в чащу, вся охота отправилась вдогонку, и Мержи не без удовольствия обратил внимание, с каким искусством госпожа де Тюржи управляет лошадью и с какой неустрашимостью заставляет ее преодолевать все встречающиеся на пути препятствия. Благодаря отличной берберской лошади, на которой ехал Мержи, он не отставал от своей дамы, но, к большой его досаде, граф де Коменж, у которого лошадь была ничуть не хуже, тоже ехал рядом с графиней и, невзирая на быстроту бешеного галопа, несмотря на исключительную внимательность его к охоте, часто обращался со

словами к амазонке, меж тем как Мержи молча завидовал его легкости, беззаботности и особенно способности говорить приятные пустяки, которые, судя по досаде, которую он испытывал, должны были нравиться графине. Впрочем, для обоих соперников, одушевленных благородным соревнованием, не существовало достаточно высоких загородок, достаточно широких рвов, перед которыми они остановились бы, и раз двадцать они рисковали сломать себе шею.

Вдруг графиня, отделившись от общей массы охотников, свернула на лесистую дорогу, идущую под углом к той, по которой направился король и его свита.

— Что вы делаете? — воскликнул Коменж. — Вы собьетесь со следа! Разве вы не слышите, что рожки и лай — с той стороны.

— Так поезжайте другой дорогой. Кто вас держит?

Коменж ничего не ответил и поскакал за ней. Мержи поступил так же, и, когда они проскакали вглубь по этой дороге шагов сто, графиня задержала шаг своей лошади.

Коменж справа и Мержи слева последовали ее примеру.

— У вас хороший боевой конь, господин де Мер-

жи, — заметил Коменж, — не видно ни малейшей испарины.

— Это берберская лошадь, брат купил ее у одного испанца. Вот знак от сабельного удара, полученного ею при Монконтуре.

— Вы были на войне? — спросила графиня у Мержи.

— Нет, сударыня.

— Так что вы никогда не получили ни одной ружейной раны?

— Нет, сударыня.

— Ни одного сабельного удара?

— Тоже нет.

Мержи показалось, что она улыбается. Коменж хвастливо вздернул ус.

— Ничто так не красит молодого дворянина, — сказал он, — как хорошая рана. Не правда ли, сударыня?

— Да, если она честно заслужена.

— Что понимаете вы под этими словами: «честно заслужена»?

— Рана доставляет славу, когда она получена на поле битвы. Дуэльные раны — совсем другого рода; я не знаю ничего более достойного презрения.

— Полагаю, что господин де Мержи имел с вами

разговор, перед тем как садиться на лошадь?

— Нет, — сухо ответила графиня.

Мержи направил свою лошадь к Коменжу и сказал ему тихо:

— Сударь, как только мы присоединимся к остальной охоте, мы сможем заехать с вами в высокий кустарник, и я надеюсь там доказать вам, что я не предпринимал никаких шагов для того, чтобы избежать встречи с вами.

Коменж взглянул на него с выражением сострадания и удовольствия.

— Тем лучше, я вполне вам верю, — ответил он. — Что же касается сделанного вами предложения, я не могу его принять. Мы не какие-нибудь мужланы, чтобы драться без свидетелей, и наши друзья, которые должны принять участие в этом, никогда бы нам не простили, что мы их не подождали.

— Как вам будет угодно, сударь, — сказал Мержи и снова поехал рядом с госпожой де Тюржи, лошадь которой на несколько шагов ушла вперед. Графиня ехала, опустив голову на грудь, и, казалось, была всецело занята своими мыслями. Все трое в молчании доехали до перекрестка, которым кончалась их дорога.

— Слышите звук? Не рог ли это? — спросил

Коменж.

— По-моему, звук долетает из того кустарника, налево от нас, — сказал Мержи.

— Да, это рог, теперь я уверен в этом. И даже могу сказать, что это болонская валторна. Черт меня побери, если это не валторна друга моего Помпиньяна. Вы не можете себе представить, господин де Мержи, какая разница между болонской валторной и теми, что выделывают у нас жалкие парижские ремесленники.

— Эту слышно издалека.

— И какой звук! Как он насыщен! Собаки, заслышав его, забыли бы, что пробежали десяток лье. По правде сказать, хорошие вещи выделывают только в Италии и во Фландрии. Что вы думаете об этом воротнике в валонском вкусе? Для охотничьего костюма это очень подходит; у меня есть воротники и брыжи «смущение» для балов; но и этот колет, совсем простой, — вы думаете, его вышивали в Париже? Ничуть не бывало! Он привезен мне из Бреды. Если хотите, я попрошу прислать вам такой же через своего друга, который находится во Фландрии… Но… — Он оборвал, расхохотавшись. — Вот рассеянность! Боже мой! Я совсем забыл!

Графиня остановила лошадь.

— Коменж, охота впереди вас, и, судя по рожкам, оленя начали травить.

— Я думаю, что вы правы, прекрасная дама.

— А вы не хотите присутствовать при травле?

— Обязательно, иначе наша слава охотников и наездников погибла.

— Ну, так надо торопиться.

— Да, лошади наши передохнули. Так покажите нам пример.

— Я устала. Я остаюсь здесь. Господин де Мержи побудет со мной. Ну, трогайтесь!

— Но…

— Что же, вам два раза повторять? Шпорьте!..

Коменж не двигался с места, краска залила ему лицо, и он с бешенством переводил глаза с Мержи на графиню.

— Госпоже де Тюржи необходимо остаться вдвоем? — сказал он с горькой улыбкой.

Графиня протянула руку по направлению к кустарнику, откуда доносились звуки рожка, и сделала концами пальцев многозначительное движение. Но Коменж, по-видимому, не был расположен предоставить поле действия своему сопернику.

— Кажется, с вами приходится объясняться напрямик. Оставьте нас, господин де Коменж, ваше

присутствие докучает мне. Теперь вам понятно?

— Вполне, сударыня, — ответил он с яростью и прибавил, понижая голос: — Но что касается этого постельного любимчика, не долго он будет забавлять вас. Прощайте, господин де Мержи, *до свидания.* — Последние слова он произнес с особенным ударением; потом, дав обе шпоры, пустился в галоп.

Графиня удержала свою лошадь, которая хотела последовать примеру своего товарища, пустила ее шагом и сначала ехала молча, время от времени подымая голову и взглядывая на Мержи, будто собиралась заговорить с ним, потом отводила глаза, стыдясь, что не может найти фразы для начала разговора.

Мержи счел своим долгом заговорить первым:

— Я очень горд, сударыня, предпочтением, которое вы мне оказали.

— Господин Бернар… вы умеете драться?

— Да, сударыня, — ответил он в удивлении.

— Но я хочу сказать — хорошо драться… очень хорошо.

— Достаточно хорошо для дворянина и, конечно, нехорошо для учителя фехтования.

— Но в стране, где мы живем, дворяне лучше владеют оружием, чем профессиональные фех-

товальщики.

— Правда, мне говорили, что многие из них тратят в фехтовальных залах время, которое они гораздо лучше могли бы употребить.

— Лучше?

— Конечно. Не лучше ли беседовать с дамами, — прибавил он, улыбаясь, — чем обливаться потом в фехтовальном зале.

— Скажите, вы часто дрались на дуэли?

— Слава Богу, ни разу, сударыня. Но почему вы меня спрашиваете об этом?

— Заметьте себе на будущее, что никогда нельзя спрашивать у женщины, почему она делает то или другое. По крайней мере, так принято у благовоспитанных господ.

— Я буду соблюдать это правило, — ответил Мержи, слегка улыбаясь и наклоняясь к шее лошади.

— В таком случае… как же вы сделаете завтра?

— Завтра?

— Да. Не притворяйтесь удивленным.

— Сударыня…

— Отвечайте на вопрос. Мне все известно. Отвечайте! — воскликнула она, протягивая к нему руку царственным движением. Кончик ее пальца коснулся обшлага де Мержи, что заставило его

вздрогнуть.

— Я постараюсь сделать как можно лучше, — наконец ответил он.

— Мне нравится ваш ответ! Это ответ не труса и не забияки. Но вам известно, что при дебюте вам придется иметь дело с очень опасным человеком?

— Что ж делать! Конечно, я буду в большом затруднении, в таком же, как и сейчас, — прибавил он с улыбкой. — Я видел всегда только крестьянок, и вот в начале своей придворной жизни я нахожусь наедине с прекраснейшей дамой французского двора.

— Будем говорить серьезно. Коменж — лучший фехтовальщик при этом дворе, столь обильном головорезами. Он — король «заправских» дуэлистов.

— Говорят.

— Ну и вы нисколько не обеспокоены?

— Повторяю, что я постараюсь вести себя как можно лучше. Никогда не нужно отчаиваться с доброй шпагой и с помощью Божьей.

— Божья помощь!.. — прервала она презрительно. — Разве вы не гугенот, господин де Мержи?

— Да, сударыня, — ответил он с серьезностью, как всегда привык отвечать на подобный во-

прос.

— Значит, вы подвергаетесь еще большему риску, чем другие.

— Почему?

— Подвергать опасности свою жизнь — это еще ничего, но вы подвергаете опасности нечто большее — вашу душу.

— Вы рассуждаете, сударыня, согласно понятиям вашей религии; понятия моей религии более утешительны.

— Вы играете в опасную игру. Вечные мучения поставлены на ставку, и почти все шансы — против вас.

— В обоих случаях получилось бы одно и то же; умри я завтра *католиком,* я бы умер в состоянии *смертного греха.*

— Это еще большой вопрос, и разница очень большая! — воскликнула она, задетая тем, что Мержи выставляет ей возражения, взятые из ее же верований. — Наши богословы объяснили бы вам…

— О, не сомневаюсь в этом, они ведь все готовы объяснять, сударыня; они берут на себя смелость изменять Евангелие по собственной фантазии. Например…

— Оставим это! Нельзя минуты поговорить с

гугенотом без того, чтобы он не начал цитировать по всякому поводу Священное писание.

— Потому что мы его читаем, а у вас даже священники его не знают. Но поговорим о другом. Как вы думаете, олень уже затравлен?

— Значит, вы очень привязаны к вашей религии?

— Вы первая начинаете, сударыня.

— Вы считаете ее правильной?

— Больше того, я считаю ее наилучшей, единственно правильной, иначе я переменил бы ее.

— Брат ваш переменил же религию.

— У него были свои причины, чтобы стать католиком; у меня есть свои, чтобы оставаться протестантом.

— Все они упрямы и глухи к убеждениям рассудка! — воскликнула она в гневе.

— Завтра будет дождь, — произнес Мержи, глядя на небо.

— Господин де Мержи, дружба к вашему брату и опасность, которой вы подвергаетесь, внушает мне сочувствие к вам…

Он почтительно поклонился.

— Ведь вы, еретики, не верите в мощи?

Он улыбнулся.

— И прикосновение к ним у вас считается

осквернением… Вы бы отказались носить ладанку с мощами, как это в обычае у нас, римских католиков?

— Обычай этот кажется нам, протестантам, по меньшей мере бесполезным.

— Послушайте. Раз как-то один из моих кузенов повязал на шею охотничьей собаки ладанку, потом на расстоянии двенадцати шагов выстрелил в нее из аркебузы крупной дробью…

— И убил собаку?

— Ни одна дробинка ее не тронула.

— Вот это чудесно! Хотел бы я, чтобы у меня была такая ладанка!

— Правда? И вы бы стали ее носить?

— Разумеется; раз ладанка собаку защитила, то тем более… Но постойте, я не вполне уверен, стоит ли еретик собаки… принадлежащей католику, понятно.

Не слушая его, госпожа де Тюржи быстро расстегнула верхние пуговицы своего узкого лифа, сняла с груди маленькую золотую коробочку, очень плоскую, на черной ленте.

— Берите, — сказала она, — вы мне обещали, что будете ее носить. Когда-нибудь вы отдадите мне ее обратно.

— Если смогу, конечно.

— Но, послушайте, вы будете ее беречь… никаких кощунств! Берегите ее как можно тщательнее.

— Она мне досталась от вас, сударыня!

Она передала ему ладанку, которую он взял и надел себе на шею.

— Католик поблагодарил бы руку, вручившую ему этот священный талисман.

Мержи схватил ее руку и хотел поднести к своим губам.

— Нет, нет, теперь уже слишком поздно.

— Подумайте: быть может, мне никогда уже не выпадет такого случая.

— Снимите с меня перчатку, — сказала она, протягивая руку.

Когда он снимал перчатку, ему показалось, что ему слегка пожимают руку. Он запечатлел огненный поцелуй на этой белой, прекрасной руке.

— Господин Бернар, — произнесла графиня взволнованным голосом, — вы до конца останетесь упорным, и нет никакой возможности склонить вас? В конце концов, ради меня вы обратитесь в католичество?

— Правда, не знаю… — ответил тот со смехом, — попросите хорошенько и подольше. Верно только то, что никто, кроме вас, меня не обратит.

— Скажите откровенно… если бы какая-нибудь женщина… Вам… которая бы сумела… — Она остановилась.

— Которая бы сумела?..

— Да. Разве… любовь, например… Но будьте откровенны, скажите серьезно.

— Серьезно? — Он старался снова взять ее за руку.

— Да. Если бы вы полюбили женщину другой с вами религии… эта любовь не могла бы заставить вас измениться? Бог пользуется всякого рода средствами.

— И вы хотите, чтобы я ответил вам откровенно и серьезно?

— Я требую этого.

Мержи, опустив голову, медлил с ответом. На самом деле он подыскивал ответ уклончивый. Госпожа де Тюржи делала ему авансы, отстранять которые он не собирался. С другой стороны, он всего только несколько часов как находился при дворе, и его провинциальная совесть была ужасно щепетильна.

— Я слышу рожки! — вдруг воскликнула графиня, не дождавшись этого столь затруднительного ответа. Она хлестнула лошадь хлыстом и сейчас же пустилась в галоп. Мержи поскакал вслед

за ней, но ни взгляда, ни слова от нее не мог добиться.

В одну минуту они присоединились к остальным охотникам.

Олень сначала бросился в середину пруда, откуда выгнать его стоило немалых усилий. Многие всадники спешились и, вооружившись длинными шестами, заставили бедное животное снова пуститься в бег. Но холодная вода окончательно истощила его силы. Он вышел из пруда, задыхаясь, высунув язык, и побежал неровными скачками. У собак, наоборот, пыл, по-видимому, удвоился. На небольшом расстоянии от пруда олень, чувствуя, что бегством спастись невозможно, казалось, сделал последнее усилие и, повернувшись задом к большому дубу, отважно оборотился мордой к собакам. Первые, что на него напали, взлетели на воздух с распоротыми животами. Какая-то лошадь со всадником была опрокинута наземь. Сделавшись поневоле благоразумнее, люди, лошади и собаки образовали большой круг около оленя, не осмеливаясь, однако, подходить настолько близко, чтобы их могли достать его грозные развесистые рога.

Король проворно спешился с охотничьим ножом в руке, ловко обошел дуб и сзади подре-

зал коленки у оленя. Олень испустил какой-то жалобный свист и тотчас осел. В ту же минуту штук двадцать собак бросились на него. Они вцепились ему в горло, в морду, в язык, не давая пошевелиться. Крупные слезы текли из его глаз.

— Пусть приблизятся дамы! — воскликнул король.

Дамы приблизились; почти все они сошли с лошадей.

— Вот тебе, «парпайо»! — сказал король, вонзая свой нож оленю в бок, и повернул лезвие в ране, чтобы расширить ее. Кровь брызнула с силой и покрыла лицо, руки и одежду короля.

«Парпайо» была презрительная кличка, которую католики часто давали кальвинистам. Выражение это и обстоятельства, при которых оно было применено, многим не понравились, меж тем как другие встретили это шумными одобрениями.

— Король похож на мясника, — сказал довольно громко, с выражением гадливости зять адмирала, молодой Телиньи.

Сострадательные души, которых при дворе особенно много, не преминули довести это до сведения короля, а тот этого не забыл.

Насладившись приятным зрелищем, как со-

баки пожирали оленьи внутренности, двор тронулся обратно в Париж. По дороге Мержи рассказал брату об оскорблении, которому он подвергся, и о последующем за этим вызове на дуэль. Советы и упреки были уже бесполезны, и капитан согласился назавтра сопровождать его.

XI. Заправский дуэлист из Пре-о-Клер

For one of two must yield his breath,
Ere from the field on foot we flee.

(The duel of Stuart and Wharton)

И раньше, чем один из двух
Уйдет, другой испустит дух.

(Дуэль между Стюартом и Уортоном)

Несмотря на усталость после охоты, добрую часть ночи Мержи провел без сна. Лихорадочный жар заставлял его метаться на постели и вызывал воображение к деятельности, доводящей до отчаяния. Тысяча мыслей, побочных и даже вовсе не относящихся к готовящемуся для него событию, осаждала и мучила его ум; не раз он думал, что усиливающаяся лихорадка, которую он ощущал, — только предвестие серьезной болезни, которая обнаружится через несколько часов и пригвоздит его к кровати. Что тогда станется с его честью? Что будут говорить, особенно госпожа де Тюржи и Коменж? Он многое дал бы, чтобы час, назначенный для дуэли, наступил скорее.

По счастью, к восходу солнца он почувствовал, что кровь у него успокоилась, и с меньшим волнением стал думать о предстоящей встрече. Оделся он спокойно и даже не без некоторой заботливости. Ему представлялось, что на место поединка прибегает прекрасная графиня, находит его слегка раненным, делает перевязку своими собственными руками и не скрывает больше своей любви. На часах в Лувре пробило восемь, это вывело его из мечтаний. Почти в ту же минуту в комнату вошел его брат.

На его лице видна была глубокая печаль, и, по-видимому, он провел ночь не лучше, чем Бернар. Тем не менее, пожимая руку Мержи, он старался придать своему лицу веселое выражение.

— Вот рапира, — произнес он, — и кинжал с защитной чашкой; и то и другое от Луно из Толедо; попробуй, по руке ли тебе шпага? — И он бросил на кровать Мержи шпагу и кинжал. Мержи вынул шпагу из ножен, согнул ее, попробовал острие и, казалось, остался доволен. Затем кинжал привлек к себе его внимание: щиток рукоятки был прорезан множеством маленьких дырочек, предназначенных для того, чтобы останавливать острие неприятельской шпаги и задерживать его так, чтобы нелегко было вытащить.

— С таким прекрасным оружием, — сказал он, — полагаю, можно будет защищаться. — Потом показал ладанку, данную ему госпожой де Тюржи и спрятанную у него на груди, и прибавил улыбаясь: — Вот еще средство, предохраняющее от ударов лучше кольчуги.

— Откуда у тебя эта игрушка?

— Отгадай! — И тщеславное желание показаться любимцем дам заставило его в эту минуту позабыть и Коменжа, и боевую шпагу, которая, уже обнаженная, готовая к бою, лежала перед ним.

— Бьюсь об заклад, что тебе дала ее эта сумасбродка графиня. Черт бы побрал ее с ее коробкой!

— А знаешь, что это талисман, который она дала мне специально для того, чтобы я сегодня им пользовался?

— Лучше бы она не снимала перчаток, чем искать всякого случая показать свою прекрасную белую руку.

— Я не верю этим папистским ладанкам, — продолжал Мержи, густо краснея. — Боже избави! Но, если мне суждено будет пасть, я хочу, чтобы она знала, что, умирая, я носил на груди этот залог.

— Какая суетность! — воскликнул капитан,

пожимая плечами.

— Вот письмо к матушке, — сказал Мержи слегка дрожащим голосом. Жорж принял его, ничего не сказав, и, подойдя к столу, открыл маленькую Библию и стал читать, чтобы чем-нибудь заняться, покуда брат его оканчивал туалет и завязывал массу шнурков и ленточек, которые тогда носили на платье.

На первой же попавшейся ему на глаза странице он прочел следующие слова, написанные рукой его матери:

«1 мая 1547 г. родился у меня сын Бернар. Господи, веди его на путях твоих! Господи, сохрани его от всякого зла!»

Он с силой закусил губу и бросил книгу на стол. Мержи увидел это движение и подумал, что тому в голову пришла какая-нибудь нечестивая мысль. Он поднял с серьезным видом Библию, вложил ее обратно в вышитый футляр и запер в шкаф со всеми знаками высочайшего почтения.

— Это Библия моей матери! — сказал он.

Капитан ходил по комнате и ничего на это не ответил.

— Не время ли уже идти? — сказал Мержи, застегивая портупею.

— Нет, мы еще успеем позавтракать.

Оба сели за стол, уставленный разного рода пирогами, между которыми стоял большой серебряный жбан с вином. За едой они не спеша и с притворным интересом обсуждали достоинство этого вина по сравнению с другими винами из капитанского погреба. Каждый старался этим пустым разговором скрыть от своего собеседника настоящие чувства своей души.

Капитан поднялся первым.

— Идем, — сказал он хриплым голосом. Он надвинул шляпу на глаза и стремительно спустился по лестнице.

Они сели в лодку и переехали через Сену. Лодочник, догадавшийся по их лицам, что заставляет их ехать в Пре-о-Клер, был страшно старателен и, не переставая сильно грести, рассказал им со всеми подробностями, как в прошлом месяце двое господ, один из которых назывался графом де Коменжем, удостоили его чести нанять у него лодку, чтобы в ней спокойно драться, не боясь, что им помешают. Противник господина де Коменжа, фамилии которого он, к сожалению, не знает, был насквозь проколот, кроме того, свалился вниз головой в реку, откуда он, лодочник, так и не мог его вытащить.

В ту же минуту, как они причаливали, они

заметили лодку с двумя мужчинами, которая пересекала реку шагах в ста ниже.

— Вот и они! — сказал капитан. — Оставайся здесь. — И он побежал к лодке, в которой ехали Коменж и виконт де Бевиль.

— Ах, это ты! — воскликнул последний. — Кого же Коменж сейчас убьет: тебя или твоего брата? — С этими словами он обнял его, смеясь.

Капитан и Коменж обменялись торжественными поклонами.

— Сударь, — обратился капитан к Коменжу, как только освободился от объятий Бевиля, — я считаю, что на мне лежит долг сделать еще попытку предотвратить пагубные последствия ссоры, не основанной на затрагивающих честь причинах; я уверен, что друг мой (он указал на Бевиля) присоединит свои старания к моим.

Бевиль скорчил отрицательную гримасу.

— Брат мой очень молод, — продолжал Жорж, — без известного имени и без опытности в дуэльном деле; из этого вытекает, что он принужден выказывать себя более щепетильным, чем всякий другой. Вы же, наоборот, сударь, имеете репутацию составившуюся, и ваша честь только выиграет, если вы соблаговолите пред господином де Бевилем и мной признать, что только по

неосмотрительности…

Коменж прервал его взрывом смеха.

— Шутите вы, что ли, дорогой капитан? Или вы считаете меня способным так рано покинуть постель своей любовницы… ехать за реку, и все это для того, чтобы извиниться перед сопляком?

— Вы забываете, сударь, что лицо, о котором вы говорите, — мой брат и что это оскорбляет…

— Пусть он был бы вашим отцом, мне что до того! Мне никакого дела нет до всего семейства!

— В таком случае, сударь, с вашего разрешения, вам придется иметь дело со всем семейством. И так как я старший, то вы начнете с меня.

— Прошу прощения, господин капитан, я принужден, по всем дуэльным правилам, драться с тем лицом, которое меня вызвало раньше. Ваш брат имеет право на первенство, непререкаемое право, как говорится в судебной палате; когда я покончу с ним, я буду к вашим услугам.

— Совершенно правильно! — воскликнул Бевиль. — И я, со своей стороны, не допущу, чтобы было иначе.

Мержи, удивленный, что разговор так долго тянется, медленно приблизился. Подошел он как раз вовремя, потому что услышал, как брат его осыпает Коменжа всевозможными оскорб-

лениями, вплоть до «труса», меж тем как этот последний отвечал с непоколебимым хладнокровием:

— После вашего брата я займусь вами.

Мержи схватил своего брата за руку.

— Жорж, — сказал он, — так-то ты мне помогаешь? Разве ты согласился бы, чтобы я сделал для тебя то, что ты хочешь сделать для меня?.. Сударь, — сказал он, оборачиваясь к Коменжу, — я к вашим услугам. Мы можем начать, когда вам будет угодно.

— Сию же минуту, — отвечал тот.

— Вот это превосходно, дорогой мой, — произнес Бевиль, пожимая руку Мержи. — Если я сегодня, к моему сожалению, не похороню тебя здесь, ты далеко пойдешь, малый.

Коменж скинул камзол и развязал ленты на туфлях, как бы показывая этим, что он не намерен ни на шаг отступить. Между профессиональными дуэлистами была заведена такая мода. Мержи и Бевиль последовали его примеру; один капитан даже не сбросил своего плаща.

— Что же ты, друг мой Жорж? — сказал Бевиль. — Разве ты не знаешь, что тебе придется со мной схватиться? Мы не из таких секундантов, что сложа руки смотрят, как дерутся их друзья, у

нас в ходу андалусские обычаи.

Капитан пожал плечами.

— Ты думаешь, я шучу? Клянусь честью, тебе придется драться со мной. Черт тебя побери, если ты не будешь драться!

— Ты сумасшедший и дурак, — холодно произнес капитан.

— Черт возьми! Ты мне ответишь за оба эти слова или вынудишь меня… — Он поднял шпагу, еще не вынутую из ножен, словно хотел ударить ею Жоржа.

— Тебе угодно? — сказал капитан. — Отлично! — Через минуту он был уже без камзола.

Коменж с совершенно особенной грацией махнул шпагой в воздухе, и ножны мигом отлетели шагов на двадцать. Бевиль хотел сделать так же, но ножны только наполовину слезли с лезвия, что считалось и признаком неловкости, и дурной приметой. Братья обнажили свои шпаги с меньшим блеском, но тоже отбросили ножны, которые могли бы им мешать. Каждый встал против своего противника с обнаженной шпагой в правой руке и с кинжалом в левой. Четыре лезвия скрестились одновременно.

Посредством приема, именовавшегося тогда у итальянских фехтовальщиков *liscio di spada*

è cavare alia vita[35] и состоявшего в том, чтобы противопоставить слабому материалу сильный и таким образом отразить и обезвредить оружие своего противника, Жорж первым же ударом выбил шпагу из рук Бевиля и приставил острие своей шпаги к его груди; но, вместо того чтобы пронзить ему грудь, он холодно опустил свое оружие.

— У нас неравные силы, — произнес он, — перестанем. Берегись, чтобы я не рассердился.

Бевиль побледнел, увидев шпагу Жоржа на таком близком расстоянии от своей груди. Немного сконфуженный, он протянул ему руку, и оба, воткнувши свои шпаги в землю, занялись исключительно наблюдением за двумя главными действующими лицами этой сцены.

Мержи был храбр и владел собой. Он обладал достаточными познаниями в фехтовальном искусстве, и физические его силы превосходили силы Коменжа, который к тому же, по-видимому, был утомлен после предшествовавшей ночи. В течение некоторого времени Мержи ограничивался тем, что с крайней осторожностью парировал удары, отступая, когда Коменж слиш-

[35] Примечания: 35

Бить по шпаге, отражая опасный для жизни удар *(ит.).* Все фехтовальные термины в то время были заимствованы из итальянского языка.

ком приближался, и не переставая направлять ему в лицо острие своей шпаги, меж тем как кинжалом он прикрывал себе грудь. Это неожиданное сопротивление раздражило Коменжа. Видно было, как он побледнел. У человека такой храбрости бледность служит признаком крайнего гнева. Он с удвоенной яростью продолжал нападать. Во время одной из схваток он с большой ловкостью отбросил вверх шпагу Мержи и, сделав стремительный выпад, неминуемо пронзил бы его насквозь, если бы не одно обстоятельство, почти чудо, которое отвело удар: острие рапиры встретило ладанку из гладкого золота и, скользнув по ней, приняло несколько наклонное направление. Вместо того чтобы вонзиться в грудь, шпага проткнула только кожу и, пройдя параллельно пятому ребру, вышла на расстоянии пальцев двух от первой раны. Не успел Коменж извлечь обратно свое оружие, как Мержи нанес ему в голову удар кинжалом с такой силой, что сам потерял равновесие и упал на землю. Коменж упал в одно время с ним, так что секунданты сочли их обоих убитыми.

Мержи сейчас же вскочил на ноги, и первым его движением было поднять шпагу, которая у него выпала из рук во время падения. Коменж ле-

жал неподвижно. Бевиль его приподнял. Лицо его было покрыто кровью; вытерев кровь платком, Бевиль увидел, что удар кинжала попал в глаз и что друг его убит наповал, так как, по-видимому, клинок прошел до самого мозга.

Мержи смотрел на труп остановившимся взором.

— Ты ранен, Бернар? — сказал, подбегая к нему, капитан.

— Ранен! — произнес Мержи и только теперь заметил, что вся рубашка у него в крови.

— Это ничего, — сказал капитан, — удар только скользнул. — Он приложил к крови свой платок и попросил у Бевиля его платок, чтобы кончить перевязку. Бевиль опустил на траву тело, которое он держал, и сейчас же дал свой платок и платок Коменжа, вынутый им из камзола убитого.

— Ого, приятель, какой удар кинжалом! У вас бешеная рука! Черт побери! Что же заговорят парижские завзятые дуэлисты, если из провинции к нам будут приезжать молодцы вроде вас? Скажите на милость, сколько раз вы дрались на дуэли?

— Увы, — ответил Мержи, — я дрался в первый раз. Но, ради Бога, окажите помощь вашему другу.

— Черта с два! Вы его так ублаготворили, что

никакой помощи ему не надо; клинок вошел в мозг, и удар был таким здоровым и крепким, что… Взгляните на его бровь и щеку — рукоятка кинжала туда вошла как печать в воск.

Мержи задрожал всем телом, и крупные слезы одна за другой потекли по его щекам.

Бевиль поднял кинжал и внимательно стал смотреть на кровь, наполнявшую выемки на клинке.

— Вот инструмент, которому младший брат Коменжа должен поставить толстую свечку. Прекрасный этот кинжал сделал его наследником знатного состояния.

— Пойдем отсюда… Уведи меня, — произнес Мержи угасшим голосом, беря своего брата за руку.

— Не огорчайся, — сказал Жорж, помогая брату надеть камзол. — В конце концов, человек, которого ты сейчас убил, не слишком заслуживает сожаления.

— Бедный Коменж! — воскликнул Бевиль. — И подумать, что убил тебя молодой человек, дравшийся первый раз в жизни, — тебя, который дрался около сотни раз! Бедный Коменж!

Таково было окончание его надгробной речи.

Взглянув последний раз на своего друга, Бевиль

заметил часы, висевшие у покойного на шее, по тогдашнему обычаю.

— Черт возьми! — воскликнул он. — Тебе уж нет надобности знать, который час. — Он снял часы и спрятал себе в карман, заметив, что брат Коменжа и так будет достаточно богат, а ему хочется иметь что-нибудь на память о друге.

Так как братья собирались уже уходить, он закричал им, торопливо надевая свой камзол:

— Подождите меня! Э, господин де Мержи, вы забыли свой кинжал! Не потеряйте его, смотрите. — Он обтер клинок о рубашку убитого и побежал вдогонку за молодым дуэлистом. — Утешьтесь, дорогой мой, — сказал он, садясь в лодку. — Не делайте такого плачевного лица! Послушайтесь меня и, вместо того чтобы плакаться, отправляйтесь сегодня же к вашей любовнице, прямо отсюда, и поработайте хорошенько, чтобы через девять месяцев вы могли бы подарить государству нового гражданина взамен того, которого оно по вашей милости потеряло. Так что по вашей вине ничего не будет потеряно на белом свете. Ну, лодочник, греби так, как будто хочешь заработать пистоль. К нам приближаются люди с алебардами. Эти господа — стражники из Нельской башни, и мы ничего общего с ними

иметь не желаем.

XII. Белая магия

Сегодня ночью снились мне дохлые рыбы да битые яйца, и я узнал от сеньора Анаксарка, что битые яйца и дохлые рыбы означают неудачу.

Мольер. Великолепные любовники, I, 2

Эти люди, вооруженные алебардами, были караульные солдаты, отряд которых постоянно находился по соседству с Пре-о-Клер, чтобы иметь возможность вмешиваться в споры, обычно разрешаемые на этом классическом месте дуэлей. По своему обыкновению, они приближались очень медленно, так, чтобы прийти, когда уже все будет кончено. Действительно, их попытка восстановить мир зачастую встречала очень неблагосклонный прием. Неоднократно случалось, что заклятые враги на время прерывали смертельный бой, чтобы соединенными силами напасть на солдат, которые хотели их разъединить. Так что обязанности этих караульных чаще всего ограничивались тем, что они оказывали помощь раненым или уносили убитых. На этот раз стрелкам предстояла только последняя зада-

ча, которую они и исполнили согласно своему обычаю, то есть тщательно опорожнив карманы несчастного Коменжа и поделив между собой его платье.

— Дорогой друг мой, — сказал Бевиль, оборачиваясь к Мержи, — могу вам дать совет: пусть вас как можно секретнее переправят к мэтру Амбруазу Паре; он удивительный человек на случай, если приходится зашить какую-нибудь рану или выправить сломанный член. Хотя он не меньший еретик, чем сам Кальвин, но его познания пользуются такой известностью, что к нему прибегают самые завзятые католики. До сих пор только маркиза де Буасьер предпочла храбро умереть, чем быть обязанной жизнью гугеноту. Так что я бьюсь об заклад на десять пистолей, что она находится в раю.

— Рана — это пустяки, — сказал Жорж, — через три дня она заживет. Но у Коменжа есть родственники в Париже, и я боюсь, как бы они не приняли его смерть слишком близко к сердцу.

— Да, да. У него есть мать, которая, для соблюдения приличия, сочтет своим долгом преследовать нашего друга по закону. Ничего, ходатайствуйте о помиловании через господина де Шатильона. Король сейчас же согласится; король как воск в

руках адмирала.

— Мне бы хотелось, если возможно, — произнес Мержи слабым голосом, — мне бы хотелось, чтобы адмирал ничего не узнал о происшедшем.

— Почему? Вы думаете, старая борода рассердится, узнав, каким молодецким образом протестант укокошил католика?

Мержи в ответ только глубоко вздохнул.

— Коменж достаточно известен при дворе, чтобы смерть его не возбудила толков, — сказал капитан. — Но ты исполнил свой долг дворянина, и во всей этой истории нет ничего, что бы не послужило тебе к чести. Я уже давно не посещал старика Шатильона, и вот случай возобновить с ним знакомство.

— Так как провести несколько часов за тюремной решеткой никогда не представляет приятности, — снова начал Бевиль, — то я отвезу твоего брата в такой дом, где никому в голову не придет отыскивать его. Там он будет находиться в совершенном спокойствии, покуда дело его не уладится. В монастырь, пожалуй, его не примут, как еретика.

— Благодарю вас за ваше предложение, сударь, — сказал Мержи, — но принять его я не могу. Согласившись на него, я мог бы вас ском-

прометировать.

— Нисколько, нисколько, дорогой мой. Притом разве не следует оказывать своим друзьям кое-какие услуги? Дом, куда я вас помещу, принадлежит одному из моих кузенов, которого нет в настоящее время в Париже. Там даже есть человек, которому я позволил там жить и который будет ходить за вами: некая старушка, весьма полезная для молодежи и вполне мне преданная. У нее есть познания в медицине, в магии, в астрономии. Чем только она ни занимается! Но всего больше у нее способности к сводничеству. Провалиться мне на этом месте, если она не возьмется передать по моей просьбе любовную записку самой королеве!

— Хорошо, — сказал капитан, — мы перевезем его в этот дом сейчас же после того, как мэтр Амбруаз окажет ему первую помощь.

В таких разговорах они добрались до правого берега. Не без труда водрузив Мержи на лошадь, они довезли его до пресловутого хирурга, затем оттуда — в уединенный дом Сент-Антуанского предместья, где расстались с ним только к вечеру, уложив его в хорошую постель и поручив уходу старухи.

Когда случится убить человека и когда человек

этот — первый, которого вы убиваете, некоторое время, особенно с приближением ночи, вас мучает воспоминание и образ последней судороги, предшествовавшей смерти. Ум до такой степени занят мрачными мыслями, что очень трудно принимать участие в разговоре, даже самом простом; он утомляет и надоедает; с другой стороны, страшит одиночество, так как оно усиливает удручающие мысли. Несмотря на частые посещения де Бевиля и брата, первые дни, последовавшие за дуэлью, Мержи провел в ужасной грусти. Довольно сильный жар от раны лишал его по ночам сна, и тогда-то он чувствовал себя особенно несчастным. Только мысль о том, что госпожа де Тюржи думает о нем и восхищается его храбростью, немного утешала, но не успокаивала его.

Как-то ночью, удрученный удушливым зноем, — происходило это в июле, — захотел он выйти из своей комнаты, прогуляться и подышать воздухом в саду, усаженном деревьями, посреди которого и находился дом. Он накинул на плечи плащ и хотел выйти, но дверь из его комнаты оказалась запертой снаружи на ключ. Он подумал, что это не что иное, как ошибка старухи, которая за ним ходит; а так как спала она

от него далеко и в настоящую минуту, вероятно, покоилась глубоким сном, он счел бесполезным звать ее. К тому же окно в комнате было не очень высоко, земля под ним была мягкая, так как ее недавно перекапывали. В одну минуту он очутился в саду. Небо было облачное, ни одна звезда носа не показывала, и редкие порывы ветра время от времени как бы с трудом шевелили теплый и тяжелый воздух. Было около двух часов утра, и окрест царила глубочайшая тишина.

Мержи некоторое время прогуливался, погруженный в свои мечтания. Их прервал удар в двери с улицы. Это был удар молотком, слабый и как бы таинственный. Тот, кто ударил, казалось, рассчитывал, что кто-то будет прислушиваться, чтобы открыть ему. Посещение в такой час уединенного дома могло возбудить удивление. Мержи стоял не двигаясь в темном углу сада, откуда он, не будучи сам видим, мог за всем наблюдать. Из дома сейчас же с потайным фонарем в руках вышла женщина, которая не могла быть никем другим, как старухой; она открыла калитку, и вошел кто-то закутанный в большой черный плащ с капюшоном.

Бернаром овладело живейшее любопытство. Фигура и, насколько он мог судить, платье особы,

только что пришедшей, указывали на то, что это женщина. Старуха встретила ее со всеми доказательствами глубокого почтения, меж тем как женщина в черном плаще едва кивнула ей головой. Зато она дала ей в руки что-то, что старуха приняла, по-видимому, с большим удовольствием. По раздавшемуся чистому и металлическому звуку и по поспешности, с которой старуха наклонилась и стала искать по земле, Мержи заключил, что она получила деньги. Обе женщины направились к саду, причем старуха шла впереди, прикрывая фонарь. В глубине сада находилось что-то вроде беседки из зелени, образованной из лип, посаженных кругом и соединенных между собой густым кустарником, вполне могущим заменить стену. Два входа или две двери вели в эту беседку, посреди которой помещался каменный стол. Сюда-то и вошли старуха и закутанная женщина. Мержи затаив дыхание прокрался вслед за ними и встал за кустарником так, чтобы хорошо слышать и видеть, насколько позволял скудный свет, освещавший эту сцену.

Старуха прежде всего зажгла что-то в жаровне, поставленной посредине стола, что сейчас же загорелось, проливая бледный синеватый свет, будто от спирта, смешанного с солью. Затем она

потушила или прикрыла фонарь, так что при дрожащем свете жаровни Мержи с трудом мог бы разглядеть черты незнакомки, даже если бы они не были скрыты вуалью и капюшоном. Что касается роста и сложения старухи, их он узнал сейчас же; заметил он только, что лицо у нее было вымазано какой-то темной краской, отчего в своем белом головном уборе казалась она бронзовой статуей. На столе были расставлены странные предметы, которые он еле различал. По-видимому, они были расположены в каком-то причудливом порядке, и ему казалось, что он разглядел плоды, кости и лоскутки окровавленного белья. Маленькая человеческая фигурка, высотой самое большее с фут и сделанная, как ему казалось, из воска, была поставлена посреди этих отвратительных тряпок.

— Ну, Камилла, — сказала вполголоса дама в вуали, — ему лучше, говоришь?

Голос этот заставил вздрогнуть Мержи.

— Немного лучше, сударыня, — ответила старуха, — благодаря нашему искусству. Все-таки мне трудно было сделать что-нибудь существенное с этими тряпками и с таким небольшим количеством крови на компрессах.

— А что говорит мэтр Амбруаз Паре?

— Этот невежда? Не все ли равно, что он говорит? Я вас уверяю, что рана глубокая, опасная, ужасная и может быть залечена только по правилам магической симпатии; но духам земли и воздуха часто нужно приносить жертвы… а для жертв…

Дама сейчас же поняла.

— Если он выздоровеет, — сказала она, — ты получишь вдвое больше того, что ты только что получила.

— Твердо надейтесь и рассчитывайте на меня.

— Ах, Камилла, а вдруг он умрет?

— Успокойтесь, духи милостивы, звезды нам покровительствуют, и последнее жертвоприношение черного барана расположило в нашу пользу того, *Другого.*

— Я принесла тебе то, что мне удалось добыть с таким трудом. Я поручила купить это у стражников, ограбивших труп. — Она вынула из-под плаща какой-то предмет, и Мержи увидел, как блеснул клинок шпаги. Старуха взяла ее и поднесла к огню, чтобы рассмотреть.

— Слава Богу, лезвие в крови и заржавело. Да, кровь у него как у китайского василиска, она оставляет на стали следы, которые ничем смыть невозможно.

Она смотрела на лезвие, и было очевидно, что дама в вуали испытывала необычайное волнение.

— Смотри, Камилла, как близка от рукоятки кровь! Может быть, это был смертельный удар?

— Это кровь не из сердца — он поправится.

— Поправится?

— Да, но поправится затем, чтобы подвергнуться неизлечимой болезни.

— Какой болезни?

— Любви.

— Ах, Камилла, правда ли это?

— Э, разве мои слова когда-нибудь противоречили истине? Когда мои предсказания обманывали? Разве я не сказала вам заранее, что он выйдет из поединка победителем? Не предварила ли я вас, что духи будут за него сражаться? Не забыла ли я на том самом месте, где он должен был драться, черную курицу и освященную священниками шпагу?

— Да, это правда.

— А вы сами, разве вы не пронзили в сердце изображение его противника, направляя таким образом удары того человека, для которого я применяла свое искусство?

— Это правда, Камилла, я пронзила в сердце

изображение Коменжа, но умер он, как говорят, от удара в голову.

— Конечно, оружие поразило в голову, но разве он умер не оттого, что сгустилась кровь в его сердце?

Дама под вуалью казалась подавленной силой этого доказательства. Она умолкла. Старуха оросила лезвие шпаги елеем и бальзамом и тщательно завернула ее в полотно.

— Видите, сударыня, что масло из скорпионов, которым я натираю шпагу, симпатической силой перенеслось в рану молодого человека? Он чувствует действие этого африканского бальзама так, будто бы я проливала его на самое поранение. А если бы мне пришло желание раскалить острие шпаги на огне, бедный больной испытал бы всю боль настоящего ожога.

— О, не вздумай это сделать!

— Как-то вечером я сидела у очага, углубившись в натирание бальзамом шпаги, чтобы вылечить одного молодого человека, которому она нанесла две ужасные раны в голову. За своей работой я задремала. Вдруг лакей от больного стучится в дверь ко мне; говорит, что барин его испытывает смертельные муки, что в ту минуту, как он оставил его, тот находился словно на горящем

костре. А знаете, что случилось? Я недоглядела, как шпага у меня соскользнула и лезвие ее в то время лежало на угольях. Я ее сейчас же взяла оттуда и сказала лакею, что к его приходу хозяин будет чувствовать себя совсем хорошо. И действительно, я сейчас же погрузила шпагу в ледяную воду, смешанную с кое-какими зельями, и пошла навестить больного. Вхожу, а он говорит мне: «Ах, дорогая Камилла, как мне сейчас хорошо! Мне кажется, будто я в свежей ванне, а только что я чувствовал себя как святой Лаврентий на раскаленной решетке».

Она закончила перевязывание шпаги и с видом удовольствия сказала:

— Вот теперь хорошо! Сударыня, я уверена в его выздоровлении, и с этой минуты вы можете заняться последней церемонией.

Она бросила на огонь несколько щепоток душистого порошка, произнося непонятные слова и беспрерывно делая крестные знамения. Тогда дама дрожащей рукой взяла восковое изображение и, держа его над жаровней, произнесла взволнованным голосом следующие слова:

— Как этот воск топится и плавится от огня этой жаровни, так, о Бернар Мержи, пусть сердце твое топится и плавится от любви ко мне!

— Хорошо! Теперь вот вам зеленая свеча, вылитая в полночь по правилам науки. Завтра зажгите ее на алтаре Девы Марии.

— Я исполню это. Но, несмотря на твои обещания, я в страшном беспокойстве. Вчера мне приснилось, что он умер.

— На каком боку вы спали: на правом или на левом?

— А на… на каком боку видишь вещие сны?

— Вы мне сначала скажите, на каком боку вы спите. Вижу, вы сами себя хотите обмануть, создать себе иллюзию.

— Я сплю всегда на правом боку.

— Успокойтесь, сон ваш сулит только счастье.

— Дай Бог!.. Но он представился мне бледным-бледным, окровавленным, закутанным в саван…

При этих словах она обернулась к Мержи, стоявшему в одном из входов в беседку. От неожиданности она так пронзительно закричала, что сам Мержи поразился. Нарочно или нечаянно старуха опрокинула жаровню, и сейчас же блестящий огонь поднялся до верхушек лип и на несколько мгновений ослепил Мержи. Обе женщины тотчас исчезли через другой выход беседки. Как только Мержи смог разглядеть проход в кустарнике, он бросился за ними вдогонку; но

с первого же шага он чуть не свалился, так как какой-то предмет запутался у него в ногах; он узнал шпагу, которой был обязан своим выздоровлением. Некоторое время у него ушло на то, чтобы убрать ее из-под ног и найти дорогу; но в ту минуту, когда он добрался до прямой и широкой аллеи и думал, что теперь уже ничего не может помешать ему догнать беглянок, он услышал, как калитка на улицу захлопнулась. Они находились вне опасности.

Слегка досадуя, что выпустил из рук такую прекрасную добычу, он ощупью дошел до своей комнаты и бросился на кровать. Все мрачные мысли исчезли у него из головы, все угрызения совести, если они у него были, все беспокойство, какое могло внушать ему его положение, улетучились, как по мановению волшебного жезла. Он думал только о том, какое счастье любить прекраснейшую женщину в Париже и быть любимым ею, потому что у него не было сомнений, что дама в вуали была госпожой де Тюржи. Он заснул вскоре после рассвета и проснулся, когда давно уже настал день. На подушке он нашел запечатанную записку, неизвестно каким образом туда положенную. Он распечатал ее и прочитал следующее: «Кавалер, честь дамы зависит от

вашей скромности».

Через несколько минут вошла старуха с бульоном. Сегодня, против обыкновения, у нее на поясе висели крупные четки. Кожа у нее была тщательно вымыта и походила уже не на бронзу, а на закопченный пергамент. Она шла медленными шагами, опустив глаза, как человек, который опасается, как бы вид земных предметов не нарушил его религиозного созерцания.

Мержи решил, что для того, чтобы наиболее достойно проявить качество, рекомендованное ему таинственной запиской, ему следует прежде всего хорошенько узнать, о чем он должен хранить молчание. Взяв бульон у старухи и не дав ей времени дойти обратно до дверей, он промолвил:

— А вы мне и не сказали, что вас зовут Камиллой!

— Камиллой? Меня зовут Мартой, сударь… Мартой Мишлен, — ответила старуха, представляясь крайне удивленной подобным вопросом.

— Пусть так! Людям вы говорите, что вас зовут Мартой, но духам вы известны под именем Камиллы.

— Духам!.. Господи Боже! Что вы хотите сказать? — И она осенила себя широким крестом.

— Ну, полно передо мной притворяться! Я ни-

кому не буду говорить, и все это останется между нами. Кто та дама, которая так интересуется моим здоровьем?

— Дама, которая…

— Ну, полно, не повторяйте моих слов, а скажите откровенно. Честное слово благородного человека, я вас не выдам.

— Но, право же, добрый барин, я не знаю, что вы этим хотите сказать.

Мержи не мог удержаться от смеха, видя, как она делает удивленный вид и прикладывает руку к сердцу. Он достал золотую лиру из кошелька, висевшего у его изголовья, и подал старухе.

— Возьмите, добрейшая Камилла. Вы так обо мне заботитесь и так старательно натираете шпаги бальзамом из скорпионов, и все это для восстановления моего здоровья, что, по правде сказать, я давно должен был бы сделать вам какой-нибудь подарок.

— Увы, барин, ну, право же, право же, я не понимаю, что вы говорите.

— Черт бы вас драл, Марта или Камилла, не сердите меня и отвечайте! Для какой дамы устраивали вы этой ночью всю эту прекрасную ворожбу?

— Ах, Боже милостивый, он начинает сердить-

ся! Неужели он будет бредить?

Мержи, выведенный из терпения, схватил подушку и запустил ею в голову старухе. Та покорно положила ее обратно на постель, подобрала упавшую на землю золотую монету, и вошедший в эту минуту капитан избавил ее от опасений, что сейчас начнется допрос, который мог кончиться для нее довольно неприятно.

XIII. Клевета

K. Henry IV. Thou dost belie him, Percy, thou dost belie him.

Shakespeare. Henry IV, I, 3

Генрих IV. Клевещешь, Перси, на него, клевещешь!

Шекспир. Генрих IV, I, 3

Жорж в то же утро отправился к адмиралу, чтобы поговорить о брате. В двух словах он рассказал ему, в чем дело.

Слушая его, адмирал грыз зубочистку, которая была у него во рту, что всегда служило признаком нетерпения.

— Я уже знаю эту историю, — сказал он, — и удивляюсь, что вы о ней говорите, когда она уже сделалась общественным достоянием.

— Я докучаю вам, господин адмирал, только потому, что мне известен интерес, которым вы удостаиваете наше семейство, и я смею надеяться, что вы не откажетесь похлопотать за брата у короля. Вы пользуетесь таким влиянием у его величества…

— Мое влияние, если только я его имею, — с

живостью перебил его адмирал, — мое влияние зиждется на том, что я только с законными просьбами обращаюсь к его величеству. — При этих словах он обнажил голову.

— Обстоятельства, принудившие моего брата прибегнуть к вашей доброте, к несчастью, более чем обычны в настоящее время. В прошлом году король подписал более полутора тысяч помилований, и сам противник Бернара часто пользовался их освобождающей от наказания силой.

— Ваш брат был зачинщиком. Может быть — и мне хотелось бы, чтобы это было правдой, — он только следовал чьим-нибудь отвратительным советам? — При этих словах он пристально глядел на капитана.

— Я сделал некоторые усилия, чтобы предотвратить роковые последствия ссоры; но, как вам известно, господин де Коменж никогда не бывал расположен принимать другие способы удовлетворения, кроме тех, что даются острием шпаги. Честь дворянина и мнение дам…

— Таким-то языком вы и говорили с несчастным молодым человеком! Конечно, вы мечтали сделать из него заправского дуэлиста! О, как скорбел бы его отец, узнав, с каким пренебрежением его сын относится к его советам! Великий Боже,

еще не прошло двух лет с тех пор, как затихли гражданские войны, а они уже забыли потоки пролитой ими крови! Они еще не удовлетворены; им нужно, чтобы ежедневно французы резали французов!

— Если бы я знал, сударь, что моя просьба будет вам неприятна…

— Послушайте, господин де Мержи, я мог бы как христианин сделать насилие над своими чувствами и простить вашему брату вызов, но его поведение во время последовавшей за этим дуэли, по слухам, не было…

— Что вы хотите сказать, господин адмирал?

— Что поединок велся не в лояльной форме и не так, как это принято у французского дворянства.

— Но кто же осмеливается распускать такую гнусную клевету? — воскликнул Жорж, и глаза его засверкали гневом.

— Успокойтесь. Вызова вам не придется посылать, потому что с женщинами еще не дерутся… Мать Коменжа представила королю подробности дуэли не к чести вашего брата. Они могли бы объяснить, как столь опасный противник мог так легко пасть под ударами ребенка, едва вышедшего из возраста пажа.

— Материнская скорбь — великое и законное

чувство. Можно ли удивляться, что ее глаза, еще полные слез, не могут видеть истины? Я льщу себя надеждой, господин адмирал, что суждение свое о моем брате вы не будете основывать на рассказе госпожи де Коменж.

Колиньи, по-видимому, был поколеблен, и в его голосе несколько уменьшилась горькая ирония.

— Вы не можете отрицать тем не менее, что Бевиль, секундант де Коменжа, — ваш близкий друг?

— Я знаю его давно и даже обязан ему в некоторых отношениях. Но Коменж был также близок с ним. К тому же Коменж сам выбрал его себе в секунданты. В конце концов, храбрость и честность Бевиля ставит его вне всякого подозрения в недобросовестности.

Адмирал сжал рот с видом глубокого презрения.

— Честность Бевиля! — повторил он, пожимая плечами. — Атеист, человек, погрязший в разврате!

— Да, Бевиль — человек честный! — воскликнул капитан с силой. — Но к чему столько рассуждений? Разве я сам не присутствовал при этой дуэли? Вам ли, господин адмирал, пристало ставить под вопрос нашу честность и обвинять

нас в убийстве? — В его тоне слышалась угроза. Колиньи не понял или пренебрег намеком на убийство герцога Франсуа де Гиза, которое ненависть католиков приписывала ему. Больше того, черты его приняли спокойную неподвижность.

— Господин де Мержи, — произнес он холодно и пренебрежительно, — человек, отступивший от своей религии, лишается права говорить о своей чести, так как никто ему не поверит.

Лицо капитана побагровело, затем через минуту покрылось смертельной бледностью. Он отступил шага на два, как будто для того, чтобы не поддаться искушению ударить старика.

— Сударь, — воскликнул он, — ваш возраст и ваш чин позволяют вам безнаказанно оскорблять бедного дворянина в том, что для него драгоценнее всего! Но, умоляю вас, прикажите кому-нибудь из ваших приближенных или нескольким из них подтвердить произнесенные вами слова — клянусь Богом, я так их вобью им в глотку, что они подавятся!

— Конечно, так поступают заправские дуэлянты. Я не следую их обычаю и прогоняю от себя приближенных, которые задумают им подражать.

С этими словами он повернулся спиной к по-

сетителю. Капитан с яростью в душе вышел из дворца Шатильона, вскочил на лошадь и, словно для облегчения своего бешенства, пустил бедное животное сумасшедшим галопом, бороздя шпорами его бока. В бурной своей скачке он чуть не передавил множества мирных прохожих, и счастье его еще, что на дороге не встретилось ни одного заправского дуэлянта; потому что при таком настроении, какое им владело, он, несомненно, придрался бы к любому случаю, чтобы пустить в ход шпагу.

Около Венсена волнение в крови у него начало успокаиваться. Он повернул обратно к Парижу свою окровавленную и запаренную лошадь.

— Бедный дружок, — сказал он с горькой усмешкой, — я на тебе вымещаю нанесенное мне оскорбление!

И, потрепав по шее свою невинную жертву, он шагом доехал до брата. Ему он просто сообщил, что адмирал отказался хлопотать за него, опуская подробности их разговора.

Но через несколько минут вошел Бевиль, который прямо бросился на шею Мержи со словами:

— Поздравляю вас, мой дорогой: вот вам помилование. Вы получили его благодаря ходатайству королевы.

Мержи выказал меньше удивления, чем его брат. В глубине души он эту милость приписывал даме в вуали, то есть графине де Тюржи.

XIV. Свидание

Сейчас сударыня предстанет вашим взорам
И просит вас почтить хоть кратким разговором.
Мольер. Тартюф, III, 2

Мержи опять приехал к брату; он сделал благодарственный визит королеве-матери и снова появился при дворе. Придя в Лувр, он заметил, что, до некоторой степени, унаследовал славу Коменжа. Люди, которых он знал только в лицо, почтительно кланялись ему, как близкие знакомые. Мужчины, говоря с ним, плохо скрывали зависть под внешностью предупредительной вежливости, а дамы наводили на него лорнеты и делали ему авансы, так как репутация опасного дуэлиста в те времена была самым верным способом тронуть их сердца. Три-четыре человека, убитые на поединке, могли заменить красоту, богатство и ум. Одним словом, когда герой наш появился в Луврской галерее, он услышал, как вокруг поднялся шепот: «Вот молодой Мержи, убивший Коменжа», «Как он молод! Как строен!»,

«Он очень хорош с виду!», «Как браво у него закручен ус!», «Известно ли, кто его возлюбленная?».

Но Мержи тщетно старался разыскать в толпе голубые глаза и черные брови госпожи де Тюржи. Он даже сделал ей визит, но ему сообщили, что вскоре после смерти Коменжа она уехала в одно из своих поместий, отстоявшее на двадцать лье от Парижа. Если верить злым языкам, скорбь, причиненная ей смертью ухаживавшего за ней человека, заставила ее искать уединения, где бы без помехи она могла предаваться дурному настроению.

Однажды утром, когда капитан в ожидании завтрака лежал на диване и читал «*Преужасную жизнь Пантагрюэля*», а брат его под надзором синьора Уберто Винибелла брал урок на гитаре, лакей доложил Бернару, что в нижней зале его дожидается какая-то старая женщина, опрятно одетая, которая с таинственным видом добивается разговора с ним. Он сейчас же сошел вниз и получил из высохших рук какой-то старухи, которая не была ни Мартой, ни Камиллой, письмо, распространявшее сладкий запах; оно было перевязано золотой ниткой и запечатано широкой печатью из зеленого воска, на которой вместо герба изображен был только амур, при-

ложивший палец к губам, и стоял кастильский девиз: Callad[36]. Он распечатал его и увидел всего лишь одну строчку по-испански, которую насилу понял: «Esta noche, una dama espera a V. M.»[37].

— От кого это письмо? — спросил он у старухи.

— От дамы.

— Как ее зовут?

— Не знаю. По ее словам, она испанка.

— Почему она меня знает?

— Славу о ваших подвигах храбрости и любви вините в этом деле, — произнесла она хвастливо. — Но ответьте, придете ли вы.

— Куда нужно идти?

— Будьте сегодня вечером в половине девятого в церкви Святого Германа Осерского, в левом приделе.

— Что же, я в церкви увижусь с этой дамой?

— Нет. За вами придут и отведут вас к ней. Но будьте скромны и приходите одни.

— Хорошо.

— Вы обещаете?

— Даю слово.

— Итак, прощайте. Главное, не идите за мной

---

[36] Примечания: 36
«Молчите» (*исп.).*

[37] Примечания: 37
«Сегодня вечером вас ждет одна дама» (*исп.).*

следом.

Она низко поклонилась и быстро вышла.

— Ну, чего нужно было этой почтенной сводне? — спросил капитан, когда брат вернулся наверх, а учитель музыки ушел.

— О, ничего! — ответил Мержи с напускным равнодушием и принялся с вниманием рассматривать Мадонну, о которой упоминалось выше.

— Брось, что за секреты от меня! Не нужно ли проводить тебя на свидание, покараулить на улице, встретить ревнивца ударами шпаги плашмя?

— Говорю тебе — ничего.

— Как хочешь. Если тебе угодно, храни свой секрет про себя. Но бьюсь об заклад, что тебе так же хочется рассказать его, как мне узнать.

Мержи рассеянно перебирал струны гитары.

— Кстати, Жорж, я сегодня вечером не смогу пойти на ужин к господину де Водрейлю.

— А, значит, назначено на сегодняшний вечер! Хорошенькая?.. Она придворная дама? Горожанка? Купчиха?

— Право, не знаю. Меня представят даме… нездешней… но кому, мне неизвестно.

— Но по крайней мере ты знаешь, где ты должен встретиться с ней?

Бернар показал записку и повторил то, что

старуха сообщила ему на словах.

— Почерк изменен, — сказал капитан, — и я не знаю, что подумать обо всех этих предосторожностях.

— Это, должно быть, какая-нибудь знатная дама, Жорж.

— Вот наши молодые люди: по малейшему поводу они воображают, что самые высокопоставленные дамы готовы вешаться им на шею.

— Понюхай, как пахнет записка!

— Это ничего не доказывает.

Вдруг лоб капитана нахмурился, и в уме у него промелькнула зловещая мысль.

— Коменжи злопамятны, — произнес он, — может случиться, что записка эта просто выдумана ими, чтобы заманить тебя в западню, в уединенное место, а там заставить тебя дорогой ценой поплатиться за удар кинжала, доставивший им наследство.

— Ну вот, что за мысль!

— Не в первый раз любовью пользуются для мести. Ты читал Библию — вспомни, как Далила предала Самсона.

— Мне нужно было бы быть большим трусом, чтобы из-за такого невероятного предположения пропустить свидание, которое, может быть, будет

прелестным… Испанка!

— По крайней мере возьми с собой оружие. Хочешь, я отпущу с тобой двух лакеев?

— Фи! Зачем делать весь город свидетелем моих любовных приключений?

— Теперь это довольно распространено. Сколько раз я видел, как мой большой друг д'Арделе отправлялся к любовнице в кольчуге, с двумя пистолетами за поясом… а за ним шли четверо солдат из его роты, и у каждого по заряженному мушкету. Ты еще не знаешь Парижа, приятель, и поверь мне, предосторожность никогда не вредит. Когда кольчуга начинает мешать, ее снимают — вот и все.

— У меня нет никакого беспокойства. Если родственники Коменжа сердятся на меня, они могли бы очень просто напасть на меня ночью на улице.

— Одним словом, я отпущу тебя лишь под условием, что ты возьмешь свои пистолеты.

— Хорошо. Только надо мной будут смеяться.

— Это еще не все. Нужно еще хорошенько пообедать, съесть парочку куропаток и хорошую порцию пирога с петушьими гребешками, чтобы сегодня вечером не посрамить семейную честь Мержи.

Бернар удалился к себе в комнату, где он провел по крайней мере четыре часа, причесываясь, завиваясь, душась и, наконец, придумывая красноречивые слова, с которыми он предполагал обратиться к прекрасной незнакомке.

Без труда можно догадаться, что на свидание он пришел с точностью. Уже более получаса расхаживал он по церкви. Он уже раза три пересчитал все свечи, колонны и обетные приношения, когда какая-то старая женщина, тщательно закутанная в темный плащ, взяла его за руку и, не говоря ни слова, вывела на улицу. Все время храня молчание, она, после нескольких поворотов, привела его в переулок, крайне узкий и, по-видимому, необитаемый. В самом конце его она остановилась перед маленькой сводчатой дверцей, очень низенькой, и отперла ее, вынув из кармана ключ. Она вошла первой, а Мержи — вслед за ней, держась за ее плащ, так как было темно. Как только он вошел, он услышал, как за его спиной задвинулись огромные засовы. Провожатая вполголоса предупредила его, что он находится у подножия лестницы и что ему предстоит подняться на двадцать семь ступенек. Лестница была очень узкой, а ступени неровные и истертые, так что он несколько раз чуть было не свалился. Наконец,

после двадцать седьмой ступеньки, окончившейся маленькой площадкой, старуха открыла дверь, и яркий свет на мгновение ослепил Мержи. Он сейчас же вошел в комнату, гораздо более изящно обставленную, чем можно было предположить по внешнему виду дома.

Стены были обтянуты узорным штофом, правда немного потертым, но очень чистым. Посреди комнаты он увидел стол, освещенный двумя свечами из розового воска и уставленный всякого рода фруктами, печеньями, стаканами и графинами, в которых были, как ему казалось, вина различных сортов. Два больших кресла по краям стола, казалось, дожидались гостей. В углублении, наполовину закрытом шелковым пологом, помещалась пышная кровать, покрытая кармазиновым атласом. Множество курильниц распространяли по комнате сладострастный аромат.

Старуха сняла свою накидку, а Мержи — свой плащ. Он тотчас же узнал посланную, приносившую ему письмо.

— Пресвятая Богородица! — воскликнула старуха, заметив пистолеты и шпагу Мержи. — Неужели же вы думаете, что вам придется пронзить великанов? Прекрасный мой кавалер, здесь дело

идет не об ударах шпагой.

— Охотно верю, но может случиться, что явятся братья или муж невеселого нрава и помешают нашей беседе, так вот этим можно пустить и пыль в глаза.

— Ничего подобного вам бояться здесь нечего. Но скажите: как нравится вам эта комната?

— Конечно, очень нравится, но тем не менее будет скучно, если придется в ней сидеть одному.

— Кое-кто придет разделить с вами компанию. Но сначала вы дадите мне обещание.

— Какое?

— Если вы католик, протяните руку над распятием (она вынула его из шкафа), если гугенот, поклянитесь Кальвином… Лютером… одним словом, всеми вашими богами…

— А в чем я должен поклясться? — прервал он ее со смехом.

— Вы поклянетесь, что никогда не будете стараться узнать, кто эта дама, которая сейчас придет сюда.

— Условия жестоки.

— Решайте. Клянитесь, или я вас выведу обратно на улицу.

— Хорошо, даю вам слово — оно стоит смешных клятв, которых вы от меня требовали.

— Вот это хорошо! Ждите терпеливо, ешьте, пейте, если есть желание, сейчас вы увидите испанскую даму.

Она взяла свою накидку и вышла, дважды повернув ключ в замке.

Мержи опустился в кресло. Сердце билось неистово; ощущение было крайне сильным, почти такого же порядка, как то, что он испытывал несколько дней назад на Пре-о-Клер, в минуту встречи с противником.

В доме царила глубокая тишина; прошло мучительных четверть часа, во время которых воображение ему рисовало то Венеру, выходящую из обивки комнаты и бросающуюся ему в объятия, то графиню де Тюржи в охотничьем костюме, то принцессу королевской крови, то шайку убийц, то — и это была самая ужасная мысль — влюбленную старуху.

Ни малейший шум не извещал, чтобы кто-нибудь входил в дом, как вдруг ключ быстро повернулся в замке, дверь открылась и сейчас же закрылась, будто сама собой, и женщина в маске вошла в комнату.

Она была стройна и высокого роста. Очень узкое в талии платье подчеркивало изящество ее фигуры, но ни по крохотной ножке, обутой в бе-

лые бархатные туфли, ни по маленькой ручке, к несчастью покрытой вышитой перчаткой, нельзя было точно определить возраст незнакомки. Что-то неуловимое, может быть, магнетическое излучение или, если хотите, предчувствие заставляло думать, что ей не больше лет двадцати пяти. Наряд у нее был богат, элегантен и прост в одно и то же время.

Мержи тотчас же встал и опустился перед ней на одно колено. Дама сделала шаг к нему и произнесла нежным голосом:

— Dios os guarde, caballero. Sea V. M. el bien venido[38].

Мержи сделал движение, словно удивившись.

— Habla V. M. español?[39]

По-испански Мержи не говорил и даже с трудом понимал этот язык.

Дама, по-видимому, смутилась. Она позволила довести себя до кресла и села в него, пригласив знаком Мержи занять другое. Тогда она начала разговор по-французски, но с иностранным акцентом, который то был очень заметен и как бы утрирован, то совсем пропадал.

---

[38] Примечания: 38

Да хранит вас Господь, сударь. Добро пожаловать *(исп.).*

[39] Примечания: 39

Вы говорите по-испански? *(исп.)*

— Сударь, ваша отвага заставила меня забыть о сдержанности, присущей нашему полу; я хотела видеть совершенного кавалера и нахожу его таким, каким живописует его молва.

Мержи покраснел и поклонился.

— Хватит ли у вас жестокости, сударыня, все время сохранять на лице эту маску, которая, подобно завистливому облаку, скрывает от меня лучи солнца? — Он вычитал эту фразу в какой-то переведенной с испанского книге.

— Господин кавалер, если я останусь довольна вашей скромностью, вы не раз увидите меня с непокрытым лицом, но на сегодня ограничьтесь удовольствием беседовать со мной.

— Ах, сударыня, как бы велико ни было это удовольствие, но оно заставляет меня только еще сильнее желать видеть вас!

Он опустился на колени и, казалось, собирался снять с нее маску.

— Росо а росо[40], сеньор француз, вы слишком проворны. Сядьте на прежнее место, а то я сейчас же вас покину. Если бы вы знали, кто я и чем рискую, назначая вам свидание, вы бы удовлетворились той честью, что я вам оказываю,

---

[40] Примечания: 40
Тише *(исп.)*.

придя сюда.

— Право, мне голос ваш кажется знакомым.

— А между тем вы слышите меня впервые. Скажите мне, способны ли вы полюбить и быть верным женщине, которая бы вас полюбила?

— Около вас я уже чувствую…

— Вы меня никогда не видели, — значит, вы меня не любите. Разве вам известно, хороша ли я или безобразна?

— Я уверен, что вы очаровательны.

Незнакомка отняла свою руку, которою он уже завладел, и поднесла ее к маске, как будто собиралась ее снять.

— Что бы вы сделали, если бы сейчас перед собой увидели пятидесятилетнюю женщину, безобразную до ужаса?

— Это невозможно!

— В пятьдесят лет еще влюбляются. — Она вздохнула, и молодой человек задрожал.

— Эта изящная фигура, эта ручка, которую вы тщетно стараетесь у меня вырвать, — все мне доказывает вашу молодость.

В этой фразе было больше любезности, чем убежденности.

— Увы!

Мержи начал испытывать некоторое беспо-

койство.

— Вам, мужчинам, любви недостаточно. Вам нужна еще красота. — Она опять вздохнула.

— Позвольте мне, прошу вас, снять эту маску…

— Нет, нет! — И она с живостью его оттолкнула. — Вспомните о своем обещании. — Затем она прибавила более веселым тоном: — Мне приятно видеть вас у моих ног, а если, случайно, я оказалась бы не молодой и не красивой… с вашей точки зрения по крайней мере, — может быть, вы оставили бы меня в одиночестве.

— Покажите по крайней мере эту маленькую ручку.

Она сняла раздушенную перчатку и протянула ему белоснежную ручку.

— Мне знакома эта рука! — воскликнул он. — Другой такой прекрасной нет в Париже!

— Правда? И чья же эта рука?

— Одной… графини.

— Какой графини?

— Графини де Тюржи.

— А… знаю, что вы хотите сказать! Да, у Тюржи красивые руки благодаря миндальным притираньям ее парикмахера. Но я горжусь тем, что у меня руки мягче, чем у нее.

Все это было произнесено самым естественным

тоном, и у Мержи, которому показалось, что он узнал голос прекрасной графини, закралось некоторое сомнение, и он почти готов был отбросить эту мысль.

«Две вместо одной! — подумал он. — Что ж, значит, мне покровительствуют феи». Он старался отыскать на этой прекрасной руке знак от перстня, который заметил у Тюржи, но на этих круглых, превосходно сформированных пальцах не было ни малейшего следа хотя бы легкого нажима.

— Тюржи! — воскликнула незнакомка со смехом. — Право, я вам очень обязана за то, что вы меня принимаете за Тюржи. Благодарение Создателю, кажется, я стою несколько большего!

— Клянусь честью, графиня — прекраснейшая женщина из всех, что я видел до сих пор!

— Значит, вы влюблены в нее? — спросила она с живостью.

— Может быть; но снимите, прошу вас, вашу маску и дайте мне увидеть женщину более прекрасную, чем Тюржи.

— Когда я удостоверюсь, что вы меня любите, тогда вы увидите меня с открытым лицом.

— Любить вас… но, черт возьми, как я могу полюбить вас, не видев?

— Эта рука красива; представьте себе, что и наружность моя ей соответствует.

— Теперь я окончательно уверен, что вы очаровательны: вы выдали себя, забыв изменить свой голос. Я узнал его, я уверен в этом!

— И это голос Тюржи? — смеясь спросила она с очень ясным испанским акцентом.

— Точь-в-точь!

— Ошибка, ошибка с вашей стороны, сеньор Бернардо: меня зовут донья Мария, донья Мария де… Позднее я вам скажу свое другое имя. Я — дворянка из Барселоны; отец мой, который держит меня под строгим присмотром с некоторого времени, отправился путешествовать, и я пользуюсь его отсутствием, чтобы развлечься и посмотреть на парижский двор. Что же касается Тюржи — перестаньте, прошу вас, говорить мне об этой женщине; мне ненавистно ее имя, она самая злая женщина при дворе. Кстати, вы знаете, каким образом она овдовела?

— Да, мне что-то рассказывали.

— Ну и что же вам рассказывали? Говорите.

— Что, застав мужа за слишком нежным объяснением с одной из камеристок, она схватила кинжал и ударила его довольно сильно, так что бедняга через месяц от этого умер.

— Поступок этот вам кажется… ужасным?

— Признаться, я его оправдываю. Говорят, она любила своего мужа, а ревность я уважаю.

— Вы говорите это потому, что думаете, что перед вами Тюржи, а в глубине души презираете ее, уверена в этом.

В голосе слышались грусть и горечь, но это не был голос Тюржи. Мержи не знал, что и подумать.

— Как! — произнес он. — Вы испанка и не питаете уважения к ревности?

— Оставим это!.. Что это за черная лента у вас на шее?

— Ладанка.

— Я думала, вы протестант.

— Это правда. Но ладанку дала мне одна дама, и я ношу ее на память о ней.

— Послушайте! Если вы хотите мне понравиться, вы не будете больше думать о дамах. Я хочу быть для вас всеми дамами! Кто дал вам эту ладанку? Опять Тюржи?

— Право, нет.

— Вы лжете!

— Значит, вы госпожа де Тюржи!

— Вы выдали себя, сеньор Бернардо.

— Каким образом?

— Когда я встречусь с Тюржи, я спрошу у нее, почему она делает такое кощунство, давая священные предметы еретику.

С каждой минутой неуверенность Мержи усиливалась.

— Я хочу эту ладанку! Дайте ее сюда!

— Нет, я не могу ее отдать.

— Я так хочу! Посмеете ли вы мне отказать?

— Я обещал ее вернуть.

— Глупости! Пустяки — такое обещание! Обещание, данное фальшивой женщине, ни к чему не обязывает. Притом будьте осторожней: может быть, вы носите наговоренную вещь, какой-нибудь опасный талисман. Тюржи, говорят, большая колдунья.

— Я не верю в колдовство.

— И в колдунов тоже?

— Верю немного в *колдуний* (он сделал ударение на последнем слове).

— Послушайте, дайте мне ладанку — и я, может быть, сниму маску.

— Ну, право же, это голос госпожи де Тюржи!

— В последний раз: дадите вы мне ладанку?

— Я вам ее верну, если вы снимете маску.

— Ах, вы меня выводите из терпения с вашей Тюржи! Любите ее на здоровье, мне что за дело!

Она повернулась в кресле, будто надулась. Атлас, покрывавший ее грудь, быстро подымался и опускался.

Несколько минут она хранила молчание, потом, быстро повернувшись, произнесла насмешливо:

— Vala me Dios V. M. no es caballero, es un monje[41].

Ударом кулака она опрокинула две зажженные свечи на столе, половину бутылок и блюд. Свет сейчас же погас. В ту же минуту она сорвала с себя маску. В полной темноте Мержи почувствовал, как чьи-то горячие губы ищут его губ и две руки крепко сжимают его в объятиях.

---

[41] Примечания: 41

Помоги мне, Боже! Вы совсем не кавалер, вы — монах *(исп.).*

XV. Темнота

Ночью все кошки серы.

На соседней церкви пробило четыре часа.

— Господи, четыре часа! Я едва поспею вернуться домой до рассвета!

— Как, злая! Оставить меня так скоро?

— Нужно! Но мы скоро опять увидимся!

— Увидимся! Но дело в том, дорогая графиня, что я вас совсем не видел.

— Какой вы ребенок! Бросьте вашу графиню! Я донья Мария, и, когда рассветет, вы увидите, что я не та, за кого вы меня принимаете.

— С какой стороны дверь? Я сейчас кликну кого-нибудь.

— Не надо. Помогите мне встать с кровати, Бернардо; я знаю комнату и сумею отыскать огниво.

— Осторожней, не наступите на битое стекло; вы вчера много его набили.

— Пустите меня: я сама все сделаю.

— Нашли?

— Ах да, это мой корсет. Пресвятая Богородица! Что мне делать? Я все шнурки перерезала вашим кинжалом!

— Нужно спросить другие у старухи.

— Не шевелитесь, я сама сделаю. Adiós, querido Bernardo![42]

Двери открылись и сейчас же опять захлопнулись. Громкий смех раздался из-за двери, Мержи понял, что добыча его ускользнула. Он сделал попытку догнать ее, но в темноте натыкался на мебель, запутывался в платьях и занавесках и все не мог найти дверей. Вдруг двери открылись, и кто-то вошел с потайным фонарем. Мержи сейчас же схватил в охапку женщину, несшую фонарь.

— Ага, попались! Теперь уж я вас не выпущу! — кричал он, нежно ее целуя.

— Оставьте же меня в покое, господин де Мержи! — произнес грубый голос. — Можно ли так тискать людей?!

Он узнал старуху.

— Чтоб черт вас побрал! — воскликнул он.

Он молча оделся, забрал свое оружие с плащом и вышел из дома в таком состоянии, будто человек, пивший превосходную малагу и хвативший, по недосмотру слуги, стакан из бутылки противоцинготной настойки, долгие годы остававшейся забытой в погребе.

---

[42] Примечания: 42
Прощай, возлюбленный Бернардо! *(исп.)*

Мержи был очень сдержан, передавая брату свое приключение; он рассказал об испанской даме редкой красоты, насколько он мог судить без освещения, но ни слова не проронил о появившихся у него подозрениях относительно того, кто была эта дама, скрывшая свое имя.

XVI. Признание

Амфитрион. Прошу вас, прекратим,
пожалуйста, Алкмена,
Серьезно будем говорить.

Мольер. Амфитрион, II, 2

Два дня прошло без вестей от мнимой испанки. На третий братья узнали, что госпожа де Тюржи накануне приехала в Париж и в течение дня, наверное, явится к королеве-матери засвидетельствовать свое почтение. Они сейчас же отправились в Лувр и нашли ее в галерее, окруженной дамами, с которыми она болтала. Увидя Мержи, она не выказала ни малейшего волнения. Даже самый легкий румянец не показался на ее щеках, бледных, как всегда. Как только она его заметила, она кивнула ему, как старому знакомому, и после первых приветствий наклонилась к нему и на ухо сказала:

— Надеюсь, теперь ваше гугенотское упрямство несколько поколеблено? Для вашего обращения потребовались чудеса.

— Каким образом?

— Как! Разве вы не испытали *на самом себе*

чудодейственную силу мощей?

Мержи недоверчиво улыбнулся:

— Воспоминание о прекрасной ручке, давшей мне эту маленькую ладанку, и любовь, которую она мне внушила, удвоили мои силы и ловкость.

Она, смеясь, погрозила ему пальцем:

— Вы становитесь дерзким, господин корнет! Знаете ли вы, с кем вы разговариваете таким тоном?

При таких словах она сняла перчатку, чтобы поправить волосы, и Мержи пристально смотрел на ее руку; с руки взгляд перешел на оживленные, почти злые глаза прекрасной графини. Удивленный вид молодого человека заставил ее расхохотаться.

— Чему вы смеетесь?

— А вы что на меня смотрите с таким изумленным видом?

— Простите меня, но последние дни со мной случаются вещи, которым можно только удивляться.

— Право? Это должно быть любопытно! Так расскажите же нам поскорее что-нибудь из этих изумительных вещей, которые случаются с вами каждую минуту.

— Я не могу вам рассказать о них *сейчас* и в этом

месте. К тому же я запомнил один испанский девиз, которому меня научили три дня назад.

— Какой девиз?

— Одно слово: *Callad.*

— Что же это означает?

— Как! Вы не знаете испанского языка? — сказал он, наблюдая за ней со всей внимательностью.

Но она выдержала испытание, не подав виду, что понимает смысл, скрытый под этими словами; так что глаза молодого человека, сначала пристально глядевшие в ее глаза, вскоре даже опустились, принужденные признать, что сила тех, которым они осмелились послать вызов, превосходит их.

— В детстве, — ответила она с полным безразличием, — я знала несколько слов по-испански, но думаю, что теперь их позабыла. Так что, если вы хотите, чтобы я вас понимала, говорите со мной по-французски. Ну, что же гласит ваш девиз?

— Он советует быть скромным, сударыня.

— Клянусь честью, наши придворные кавалеры должны были бы присвоить себе этот девиз, особенно если бы они могли достигнуть того, чтобы оправдать его своим поведением. Но вы ученый, господин де Мержи! Кто вас научил испанскому? Бьюсь об заклад, что какая-нибудь дама.

Мержи нежно и ласково на нее посмотрел.

— Я знаю только несколько слов по-испански, — произнес он шепотом, — но их начертала в моей памяти любовь.

— Любовь?! — повторила графиня насмешливо.

Так как она говорила очень громко, то при этих словах многие дамы обернулись, как бы спрашивая, в чем дело. Мержи, немного задетый ее насмешливостью и недовольный таким обращением, вынул из кармана испанское письмо, полученное им накануне, и подал его графине.

— Я не сомневаюсь, — сказал он, — что вы не менее учены, чем я, и без труда поймете этот испанский язык.

Диана де Тюржи схватила записку, прочитала или сделала вид, что прочитала, и, смеясь изо всех сил, передала ее находившейся ближе всех к ней даме:

— Вот, госпожа де Шатовье, прочитайте это любовное послание, только что полученное господином де Мержи от своей возлюбленной, которое, по его словам, он хочет предоставить в мое распоряжение. Самое забавное во всем этом, что почерк, которым написано это письмо, мне знаком.

— Я в этом не сомневаюсь, — произнес Мержи с некоторой горечью, но не повышая голоса.

Госпожа де Шатовье прочитала письмо, расхохоталась и передала его какому-то кавалеру, тот — другому, и через минуту в галерее не было ни одного человека, который бы не знал, как хорошо относится к Мержи какая-то испанская дама.

Когда взрывы смеха немного утихли, графиня насмешливо спросила у Мержи, находит ли он красивой женщину, написавшую эту записку.

— Клянусь честью, сударыня, я не нахожу ее менее красивой, чем вы.

— Что вы там говорите! Господи Боже мой! Вероятно, вы видели ее только ночью; ведь я ее хорошо знаю… Действительно, могу вас поздравить с удачей!

Она принялась смеяться еще громче.

— Красавица моя, — сказала Шатовье, — скажите же нам имя той испанской дамы, которая так счастлива, что овладела сердцем господина де Мержи?

— Перед тем как я ее назову, прошу вас, господин де Мержи, в присутствии этих дам скажите: видали ли вы вашу возлюбленную при дневном свете?

Мержи положительно было не по себе, и на его

лице довольно комично были написаны беспокойство и досада. Он ничего не отвечал.

— Отбросив всякие тайны, — сказала графиня, — открою, что записка эта от сеньоры доньи Марии Родригес. Мне известен ее почерк, как почерк моего отца.

— Мария Родригес! — воскликнули все дамы со смехом.

Мария Родригес была особой лет за пятьдесят. Она была мадридской дуэньей. Не знаю, уж каким образом она приехала во Францию и за какие заслуги Маргарита де Валуа взяла ее ко двору. Может быть, она держала около себя это чудовище, чтобы еще больше оттенять свои прелести контрастом с ней, подобно тому как художники изображали на своих полотнах какую-нибудь современную красавицу и карикатурный портрет ее карлика. Когда Родригес показывалась в Лувре, она смешила всех придворных дам своим напыщенным видом и старомодным нарядом.

Мержи вздрогнул. Он видал дуэнью и с ужасом вспомнил, что дама в маске назвала себя доньей Марией; в памяти у него все спуталось. Он был совсем сбит с толку, а смех усиливался.

— Она дама очень скромная, — продолжала графиня де Тюржи, — и вы не могли сделать

лучшего выбора. Она еще весьма недурна собой, когда вставит челюсть и наденет черный парик. К тому же ей никак не больше шестидесяти лет.

— Она его приворожила! — воскликнула Шатовье.

— Оказывается, вы любитель древностей? — спрашивала другая дама.

— Какая жалость, — со вздохом проговорила вполголоса одна из фрейлин королевы, — какая жалость, что у мужчин такие смешные причуды!

Мержи защищался как мог. На него сыпались иронические поздравления, и он был в довольно глупом положении, как вдруг в конце галереи показался король, и моментально прекратились смех и шутки. Каждый поспешил посторониться, и молчание сменило гул голосов.

Король провожал адмирала, с которым долго беседовал у себя в кабинете. Он фамильярно опирался рукой на плечо Колиньи, седая борода и черное платье которого составляли контраст с молодостью Карла и его блестящим расшитым костюмом. Смотря на них, можно было бы сказать, что юный король с редкой на троне проницательностью выбрал себе в любимцы самого добродетельного и самого мудрого из

подданных.

Пока они проходили через галерею и глаза всех были устремлены на них, Мержи услышал у своего уха голос графини, шептавшей тихонько:

— Не сердитесь! Возьмите — не вскрывайте, покуда не выйдете на улицу!

В то же время что-то упало ему в шляпу, которую он держал в руках. Это была бумага, в которую был запечатан какой-то твердый предмет. Он положил его в карман и через четверть часа, как только вышел из Лувра, вскрыл и увидел маленький ключ с припиской:

«Этим ключом отворяется калитка ко мне в сад. Сегодня ночью в десять часов. Я люблю вас. Я не буду больше скрыта от вас маской, и вы наконец увидите донью Марию и Диану».

Король проводил адмирала до конца галереи.

— Прощайте, отец, — произнес он, пожимая ему руки. — Вы знаете, что я люблю вас, а я знаю, что вы преданы мне душой и телом, с требухой и потрохами.

Фразу эту он заключил громким хохотом. Потом, возвращаясь в свой кабинет, остановился перед капитаном Жоржем.

— Завтра, после обедни, — сказал он, — придете

ко мне в кабинет для разговоров.

Он обернулся и бросил почти тревожный взгляд на дверь, в которую только что вышел Колиньи, затем покинул галерею и заперся с маршалом де Ретцем.

XVII. Личная аудиенция

Macbeth. Do you find
Your patience so predominant
in your nature
That you can let this go?

Shakespeare. Macbeth, III, 1

Макбет. Ужели вы
Сильней всех чувств считаете
терпенье,
Что все так сносите?

Шекспир. Макбет, III, 1

В назначенное время капитан Жорж прибыл в Лувр. Как только о нем доложили, привратник, подняв ковровую портьеру, ввел его в кабинет короля. Монарх, сидевший за маленьким столиком в позе пишущего человека, сделал ему знак рукой подождать, как будто боялся в разговоре потерять нить мыслей, занимавших его в данную минуту. Капитан в почтительной позе остановился шагах в шести от стола и имел время обвести глазами комнату и рассмотреть в подробностях ее убранство.

Убранство было очень простое, так как состояло

почти из одних охотничьих принадлежностей, беспорядочно размещенных по стене. Довольно хорошая картина, изображавшая Деву Марию, увенчанная большой веткой букса, висела между длинной аркебузой и охотничьим рожком. Стол, за которым писал монарх, был покрыт бумагами и книгами. На полу лежали четки и маленький молитвенник вперемежку с тенетами и сокольничьими колокольчиками. Тут же на подушке спала крупная борзая.

Вдруг король в бешенстве бросил перо на землю, и грубое ругательство сорвалось с его уст. Опустив голову, он два-три раза прошелся вдоль кабинета неровными шагами, потом, неожиданно остановившись перед капитаном, бросил на него испуганный взгляд, как будто только сейчас его заметил.

— Ах, это вы! — воскликнул он, несколько отступая.

Капитан поклонился до земли.

— Очень рад вас видеть… Мне нужно было с вами переговорить, но… — Он остановился.

Жорж стоял, ожидая окончания фразы, полуоткрыв рот, вытянув шею, выставив несколько левую ногу, — одним словом, в такой позе, какую художник, по-моему, мог придать фигуре, изоб-

ражающей внимание. Но король снова опустил голову на грудь и, казалось, мыслями был за сто верст от того, что сейчас хотел сказать.

Наступило короткое молчание. Король сел и провел рукой по лбу, как человек, чувствующий усталость.

— Чертова рифма! — воскликнул он, топнув ногой и звеня длинными шпорами, что были у него на ботфортах.

Борзая вдруг проснулась и, приняв этот удар ноги за призыв, относящийся к ней, вскочила и, подойдя к королевскому креслу, положила обе лапы ему на колени и, подняв свою удлиненную морду, которая оказалась много выше головы Карла, разинула широкую пасть и зевнула без малейшей церемонии — настолько трудно привить собаке придворные привычки. Король прогнал собаку, и она со вздохом легла на прежнее место. Встретясь опять, как бы нечаянно, взглядом с глазами капитана, он произнес:

— Простите меня, Жорж, эта ...[43] рифма вогнала меня в испарину.

— Может быть, я мешаю вашему величеству? —

---

[43] Примечания: 43

Читателю предоставляется самому вставить эпитет, употребленный Карлом IX, который часто пользовался выражениями, действительно очень энергичными, но не особенно изящными.

сказал капитан с глубоким поклоном.

— Нисколько, нисколько! — ответил король. Он встал и дружески положил руку на плечо капитану. При этом он улыбался, но улыбался только губами — рассеянные глаза его не принимали в этом никакого участия.

— Прошла ли у вас усталость от этой охоты? — спросил король, очевидно затрудняясь приступить к делу. — Олень заставил долго с собой повозиться.

— Сир, я не достоин был бы командовать отрядом легкой кавалерии вашего величества, если бы такой пробег, как позавчерашний, меня утомил. Во время последних войн господин де Гиз, постоянно видавший меня в седле, прозвал меня *Албанцем.*

— Действительно, мне говорили, что ты хороший кавалерист. Но, скажи мне, из аркебузы ты хорошо стреляешь?

— Да, сир, я довольно хорошо орудую ею… Конечно, я далек от того, чтобы обладать искусством вашего величества! Оно дано не всем.

— Постой! Видишь эту длинную аркебузу? Заряди ее двенадцатью дробинами. Провалиться мне на месте, если, прицелившись в шестидесяти шагах в какого-нибудь басурмана, ты не все их

всадишь ему в грудь!

— Шестьдесят шагов — расстояние довольно большое, но я не хотел бы подвергнуть себя этому опыту с таким стрелком, как ваше величество.

— Он в двухстах шагах может послать пулю в тело человека, только бы пуля была подходящего калибра.

Король вложил аркебузу в руки капитана.

— Как видно, бой у него такой же отличный, как и отделка, — сказал Жорж, тщательно рассмотрев аркебузу и попробовав спуск.

— Ты молодец, как я вижу, знаешь толк в оружии. Возьми к прицелу, чтобы я посмотрел, как ты это делаешь!

Капитан повиновался.

— Хорошая штука — аркебуза! — продолжал Карл медленно. — За сто шагов одним вот таким движением пальца можно наверняка избавиться от врага — и ни кольчуга, ни панцирь не устоят перед хорошей пулей.

Как я уже говорил, Карл IX, не то вследствие привычки, оставшейся с детства, не то по врожденной робости, никогда почти не смотрел в лицо своему собеседнику. На этот раз, однако, он пристально посмотрел на капитана со странным выражением. Жорж невольно опустил глаза, и

почти сейчас сделал то же самое и король. Еще раз наступило молчание. Жорж первый прервал его:

— Как бы искусно ни пользоваться огнестрельным оружием, шпага и копье все-таки вернее!

— Правда! Но аркебуза… — Карл странно улыбнулся. Сейчас же он продолжал: — Говорят, Жорж, тебя жестоко оскорбил адмирал?

— Сир…

— Я знаю это, уверен в этом! Но был бы очень рад… мне хочется, чтобы ты сам рассказал мне эту историю.

— Это правда, сир, я имел разговор с ним по поводу одного злосчастного дела, в котором я был живейшим образом заинтересован…

— По поводу дуэли твоего брата? Черт возьми! Красивый малый, умеющий отлично проткнуть кого нужно, — я уважаю его; Коменж был фатом, он получил только то, чего заслуживал, побей меня Бог! Но какого черта эта старая борода вздумала из-за этого тебя выругать?

— Боюсь, что злосчастное различие верований и мое обращение, которое я считал забытым…

— Забытым?

— Ваше величество подали пример забвения религиозных разногласий, и ваша беспристрастная справедливость…

— Знай, товарищ, что адмирал ничего не забывает.

— Я заметил это, сир. — И лицо Жоржа снова омрачилось.

— Скажи мне, Жорж, что ты намерен делать?

— Я, сир?

— Да. Говори откровенно!

— Сир, я слишком незначителен, а адмирал слишком стар для того, чтобы я послал ему вызов. К тому же, — продолжал он с поклоном, как бы стараясь придворной фразой загладить впечатление, которое, по его мнению, должна была произвести на короля его дерзость, — к тому же, если бы я имел возможность это сделать, я побоялся бы таким поступком потерять доброе расположение вашего величества.

— Вздор! — воскликнул король и правой рукой налег на плечо Жоржа.

— К счастью, — продолжал капитан, — моя честь не в руках адмирала, а если бы кто-либо из равных мне по положению осмелился выразить сомнение в моей чести, я обратился бы к вашему величеству с мольбой позволить мне…

— Так что ты адмиралу мстить не будешь? А между тем этот… делается бешено наглым.

Жорж широко раскрыл глаза от изумления.

— Все-таки он тебя оскорбил! — продолжал король. — Да, черт меня побери! Говорят… Дворянин не лакей; есть вещи, которых нельзя переносить даже от монарха.

— Как же я могу отомстить ему? Он сочтет ниже своего достоинства драться со мной.

— Возможно! Но… — Король снова взял аркебузу и прицелился. — Понимаешь?

Капитан попятился. Движение короля было достаточно ясно, и дьявольское выражение его лица не оставляло никаких сомнений в значении этого жеста.

— Как, сир! Вы мне посоветовали бы?..

Король с силой стукнул об пол прикладом аркебузы и воскликнул, глядя на Жоржа с бешенством:

— Советовать тебе?! Черт побери! Я тебе ничего не советую!

Капитан не знал, что отвечать, — он поступил так, как большинство поступило бы на его месте: он поклонился, опустив глаза.

Карл, сейчас же смягчив тон, продолжал:

— Это не значит, что если бы ты дал по нему хорошенький выстрел для восстановления твоей чести… так мне это было бы безразлично. Клянусь папскими потрохами! Для дворянина нет

ничего драгоценнее чести, и нет такой вещи, которой бы он не мог сделать для восстановления ее. К тому же эти Шатильоны надменны и наглы, как помощники палача; я отлично знаю: негодяи охотно свернули бы мне шею и заняли бы мое место… При виде адмирала у меня иногда является желание выщипать ему всю бороду.

На этот поток слов из уст человека, обычно не словоохотливого, капитан ничего не ответил.

— Ну, черт возьми, что ж ты намерен делать? Знаешь, я на твоем месте подкараулил бы его при выходе с этой его… проповеди и из какого-нибудь окна пустил ему в живот хороший заряд. Ей-богу, Гиз, мой кузен, был бы тебе признателен, и ты оказал бы большое содействие водворению мира в королевстве! Знаешь ли, что этот нехристь — более король Франции, чем я… В конце концов, это мне надоело. Я откровенно выскажу тебе свою мысль: следует поучить этого… не покушаться больше на честь дворянина. Покушение на честь, покушение на жизнь — за одно платят другим.

— Дворянская честь от убийства еще сильнее пятнается, вместо того чтобы восстановляться!

Ответ этот произвел впечатление внезапного удара грома на короля. Он стоял неподвижно, протянув руки к капитану, и продолжал держать

в них аркебузу, которую словно предлагал ему как орудие мести. Губы его были бледны и полуоткрыты, и можно было подумать, что глаза его, пристально уставившиеся в глаза Жоржу, приковывают их ужасающим взглядом и сами ими прикованы.

Наконец аркебуза выпала из дрожавших рук короля и брякнулась об пол; капитан поспешил сейчас же поднять ее; тогда король сел в кресло, мрачно опустив голову. Его губы и брови быстро шевелились, выдавая борьбу, происходившую в глубинах его сердца.

— Капитан, — произнес он после продолжительного молчания, — где стоит твой отряд легкой кавалерии?

— В Мо, сир.

— Через несколько дней ты отправишься туда и сам приведешь его в Париж. Через… несколько дней ты получишь приказ об этом. Прощай!

Голос его звучал жестко и гневно. Капитан отвесил ему глубокий поклон, и Карл, указывая рукой на двери, дал ему понять, что аудиенция кончена.

Капитан выходил пятясь с положенными поклонами, как вдруг король порывисто поднялся и схватил его за руку:

— Язык за зубами по крайней мере! Понял?

Жорж еще раз поклонился, положив руку на сердце. Выходя из покоев, он слышал, как король сердито кликнул собаку и щелкнул арапником, как будто собираясь свое дурное настроение сорвать на неповинном животном.

Вернувшись к себе, Жорж написал следующую записку, которую он приказал доставить адмиралу:

«Некто, не питающий любви к Вам, но любящий честь, советует Вам не доверять герцогу Гизу и, может статься, кому-нибудь еще более могущественному. Жизнь Ваша в опасности».

Письмо это не произвело никакого впечатления на неустрашимую душу Колиньи. Известно, что вскоре после этого, 22 августа 1572 года, он был ранен выстрелом из аркебузы неким негодяем по фамилии Морвель, получившим по этому случаю прозвище *королевского убийцы.*

XVIII. Обращаемый

T'is pleasing to be school'd in a
strange tongue
By female lips and eyes.

L. Byron. D. Juan, canto II, st. 164

Чужой язык приятно изучать
Посредством женских уст.

Байрон. Дон Жуан, песнь II, строфа 164

Когда любовники осторожны, проходит иногда более недели, раньше чем общество будет посвящено в их дела. После этого срока благоразумие ослабевает, предосторожности находят смешными; брошенный взгляд легко заметить, еще легче истолковать — и вот тайна открыта.

Так же и связь графини де Тюржи и молодого Мержи вскоре перестала быть секретом для двора Катерины. Масса *очевидных* доказательств слепым открыла бы глаза. Так, например, госпожа де Тюржи обычно носила лиловые ленты, и бантами из лиловых же лент были украшены рукоять шпаги, нижний борт камзола и башмаки у Бернара. Графиня довольно открыто признавалась, что не переносит бороды, но любит галантно за-

крученные усы, — и с некоторых пор подбородок Мержи оказался тщательно выбритым, а *отчаянно* завитые, напомаженные и расчесанные металлической гребенкой усы образовали полумесяц, концы которого подымались значительно выше носа. Наконец дошло до того, что начали рассказывать, будто некий господин, выйдя из дому ранним утром и проходя по улице Аси, увидел, что садовая калитка при доме графини открылась и из нее вышел человек, в котором, несмотря на то что тот был тщательно закутан до самого носа в плащ, он без труда узнал сеньора де Мержи.

Но всего больше убеждало и удивляло всех то обстоятельство, что этот молодой гугенот, этот насмешник, безжалостно издевавшийся над всеми церемониями католического обряда, теперь прилежно посещает церкви, не пропускает почти ни одной процессии и даже опускает пальцы в святую воду, что несколько дней назад он счел бы за ужаснейшее кощунство. На ухо передавали, что Диана скоро приведет еще одну душу к Господу Богу, и молодые люди реформатского вероисповедания заявляли, что, может быть, и они серьезно подумали бы об обращении, если бы вместо капуцинов и францисканцев им для

наставления присылали молодых и хорошеньких проповедниц вроде госпожи де Тюржи.

Однако до обращения Бернара было еще далеко. Правда, он сопровождал графиню в церковь, он становился рядом с ней и во время всей обедни не переставал что-то шептать ей на ухо, к большому соблазну ханжей. Так что он не только не слушал богослужения, но даже прихожанам мешал уделять ему подобающее внимание. Известно, что в те времена процессии были таким же занятным развлечением, как маскарады. Наконец, Мержи не чувствовал больше угрызений совести, опуская пальцы в святую воду, раз это давало ему право при всех пожимать хорошенькую ручку, которая всегда вздрагивала при его прикосновении. В конце концов, если он и сохранял свою веру, то ему приходилось выдерживать горячие бои, и Диана приводила свои возражения с тем большим успехом, что богословские диспуты она обычно начинала в такие минуты, когда Мержи труднее всего было отказать ей в чем-либо.

— Дорогой Бернар! — говорила она ему однажды вечером, положив голову на плечо своему любовнику и в то же время обвив его шею длинными прядями своих черных волос. — Дорогой Бернар, вот ты был сегодня со мной на проповеди.

Ну, что же? Неужели такая масса прекрасных слов не произвела никакого впечатления на твое сердце? Ты все еще хочешь быть бесчувственным?

— Это прекрасно! Дорогая моя, как хочешь ты, чтобы гнусавый голос капуцина мог сделать то, чего не мог достигнуть твой голос, столь сладкий, и твои религиозные доказательства, так хорошо подкрепляемые влюбленными взглядами, дорогая Диана?

— Противный! Я тебя задушу! — И, слегка стянув покрепче одну из прядей своих волос, она привлекла его еще ближе к себе.

— Знаешь, чем я был занят все время проповеди? Я пересчитывал жемчуг в твоих волосах. Смотри, как ты его разбросала по всей комнате.

— Так я и знала! Ты не слушал проповеди, вечно одна и та же история! О да! — сказала она с некоторой грустью. — Я прекрасно вижу, что ты меня не любишь так, как я тебя люблю. Если бы ты меня любил, то уже давно бы обратился в католичество.

— Ах, Диана, зачем эти вечные споры? Предоставим их сорбоннским ученым и нашим церковнослужителям; а сами мы сумеем лучше провести время.

— Оставь меня!.. Как бы была я счастлива, если

бы мне удалось тебя спасти. Знаешь, Бернар, ради твоего спасения я согласилась бы удвоить количество лет, которое мне суждено пребывать в чистилище.

Он, улыбаясь, сжал ее в объятиях, но она оттолкнула его с выражением неизъяснимой грусти.

— А ты, Бернар, не сделал бы этого ради меня. Тебя не беспокоит опасность, которой подвергается моя душа в то время, как я отдаюсь тебе… — И слезы покатились из ее прекрасных глаз.

— Друг мой, разве ты не знаешь, что любовь многое извиняет и…

— Да, я это хорошо знаю. Но, если бы я сумела спасти твою душу, мне отпустились бы все мои прегрешения, все, которые мы вместе совершили, все, которые мы сможем еще совершить… все это нам отпустилось бы. Да что я! Наши грехи стали бы для нас орудием спасения!

При этих словах она изо всей силы сжимала его в объятиях, и восторженная пылкость, с которой она все это произносила, в связи с данным положением, была так комична, что Мержи насилу удержался, чтобы не расхохотаться над таким странным способом проповедовать спасение души.

— Подождем еще обращаться к Богу, моя Диана.

Когда мы оба станем стары… когда мы станем слишком стары, чтобы предаваться любви…

— Ты приводишь меня в отчаяние, злой! Зачем на губах у тебя эта дьявольская усмешка? Что же, ты думаешь, мне захочется поцеловать такие губы?

— Ну, вот я не улыбаюсь больше. Видишь?

— Хорошо, успокойся. Скажи, querido Bernardo[44], ты прочитал книгу, что я тебе дала?

— Да, я вчера ее кончил.

— Ну и как же ты ее находишь? Вот справедливые рассуждения! Она может самым неверующим заткнуть рот.

— Твоя книга, Диана, набор лжи и нахальства. Глупее ее до сих пор еще не выходило из папистской печати. Держу пари, что ты ее не читала, хотя и говоришь мне о ней с такой уверенностью.

— Нет, я ее еще не прочла, — ответила она, слегка краснея. — Но я уверена, что она преисполнена ума и справедливости. То, что гугеноты так рьяно стараются обесценить ее, служит для меня достаточным доказательством.

— Хочешь, для времяпрепровождения, я тебе

---

[44] Примечания: 44
Дорогой Бернар (*исп.*).

докажу со Священным писанием в руках?

— Не вздумай это сделать, Бернар. Помилуй меня Бог! Я не читаю Священного писания, как еретики. Я не хочу, чтобы моя вера ослабела. К тому же ты даром потеряешь время. Вы, гугеноты, всегда вооружены знанием, приводящим в отчаяние. Вы нам тычете его в нос во время прений, и бедные католики, не читавшие, как вы, Аристотеля и Библии, не знают, что отвечать.

— Это потому, что вы, католики, хотите верить во что бы то ни стало, не давая себе труда рассмотреть, разумно это или нет. Мы, протестанты, по крайней мере изучаем нашу религию раньше, чем ее защищать, и в особенности раньше, чем ее распространять.

— Ах, как бы я хотела обладать красноречием преподобного отца Жирона, францисканца!

— Он дурак и хвастун. Но как бы он ни кричал о себе, шесть лет тому назад на публичном заседании наш пастор Удар припер его к стене.

— Ложь, ложь, пущенная еретиками!

— Как! Разве ты не знаешь, что во время прений крупные капли пота упали со лба доброго отца на Златоуста, который он держал в руках? По этому поводу один шутник написал такие стишки…

— Я не хочу их слушать! Не отравляй мне слух

своими ересями! Бернар, милый Бернар, заклинаю тебя, не слушай всех этих приспешников сатаны, которые тебя обманывают и ведут в преисподнюю! Умоляю тебя, спаси свою душу и вернись в лоно нашей Церкви!

И так как, несмотря на свои настояния, она уловила на губах своего любовника скептическую улыбку, она воскликнула:

— Если ты меня любишь, отрекись ради меня, ради любви ко мне от пагубных твоих убеждений!

— Мне легче было бы, милая Диана, отречься для тебя от жизни, чем от того, что разум мой мне показывает истинным. Как хочешь ты, чтобы любовь моя заставила меня перестать верить, что дважды два — четыре?

— Жестокий…

У Мержи был безошибочный способ прекращать подобного рода прения — он к нему и прибег.

— Увы, милый Бернардо, — произнесла графиня томным голосом, когда рассвет принудил Мержи удалиться, — я ради тебя погублю свою душу и вижу ясно, что не дано мне будет утешения спасти тебя.

— Ну полно, ангел мой. Отец Жирон даст нам

великолепное отпущение in articulo mortis[45].

[45] Примечания: 45
В минуту кончины *(лат.)*.

XIX. Францисканец

Monachus in claustro
Non valet ova duo;
Sed quando est extra,
Bene valet triginta.

F. Rabelais. Vie inestimable du grand Gargantua, I, 42

Монах, сидя в келье,
Пары яиц не стоит,
А наружу выйдет —
Стоит три десятка.

Ф. Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль, I, 42

На следующий день после бракосочетания Маргариты с королем Наваррским капитан Жорж, согласно дворцовому приказу, покинул Париж и отправился командовать своим отрядом легкой кавалерии в Моский гарнизон. Брат простился с ним довольно весело, рассчитывая, что тот вернется раньше окончания празднеств, и охотно покорился перспективе остаться одному на несколько дней. Госпожа де Тюржи отнимала у него довольно много времени, так что несколь-

ко минут одиночества не представляли ничего ужасного. По ночам его никогда не было дома, а днем он спал.

В пятницу 22 августа 1572 года адмирал был ранен из аркебузы неким негодяем по фамилии Морвель. Так как народная молва приписывала это подлое убийство герцогу Гизу, этот вельможа покинул Париж на следующий день, как бы во избежание жалоб и угроз со стороны протестантов. Король сначала, по-видимому, хотел преследовать его со всей строгостью, но отнюдь не воспротивился его возвращению, которое вскоре ознаменовалось ужасным избиением 24 августа.

Довольно большое количество молодых дворян из протестантов, на хороших лошадях, посетив адмирала, рассыпалось по улицам, намереваясь отыскать герцога Гиза или его друзей, чтобы в случае встречи затеять с ними ссору. Тем не менее все обошлось сначала мирно. Народ, испуганный их количеством или, может быть, приберегая себя для другого случая, хранил при проезде их молчание, по-видимому без особенного волнения слушая, как они кричат: «*Смерть убийцам господина адмирала! Долой гизовцев!*»

За углом одной улицы перед протестантской

толпой неожиданно оказалось с полдюжины молодых дворян из католиков и между ними много приближенных Гиза. Ожидали крупной ссоры, но ничего не произошло. Может быть, из благоразумия, может быть, потому, что католики действовали по точному предписанию, — но они не ответили на оскорбительные крики протестантов, а какой-то молодой человек приличного вида, шедший во главе их, приблизился к Мержи и, вежливо поклонившись, сказал ему дружеским тоном близкого человека:

— Здравствуйте, господин де Мержи. Вы, конечно, видели господина де Шатильона? Как он себя чувствует? Схвачен ли убийца?

Обе толпы остановились. Мержи узнал барона де Водрейля, поклонился ему в свою очередь и ответил на заданные вопросы. Завязались во многих местах частные разговоры, и так как они продолжались недолго, то противники разошлись без пререканий. Католики уступили дорогу, и каждый пошел в свою сторону.

Барон де Водрейль несколько задержал Мержи, так что тот немного отстал от спутников. На прощание Водрейль посмотрел внимательно на седло и сказал ему:

— Обратите внимание! Если я не ошибаюсь,

у вашего кургузого ослабла подпруга. Будьте осторожней!

Мержи спешился и переподпружил свою лошадь. Не успел он снова сесть в седло, как услышал, что за ним кто-то скачет крупной рысью. Он обернулся и увидел молодого человека, лицо которого было ему незнакомо, но который принадлежал к только что встреченной группе.

— Разрази меня Бог! — произнес тот, приближаясь к нему. — Я был бы в восторге встретиться один на один с кем-нибудь из тех, что сейчас кричал «*долой гизовцев*».

— Вам не придется далеко ходить за этим, — ответил Мержи. — Чем могу служить?

— Не будете ли вы, случайно, из числа этих бездельников?

Мержи моментально обнажил шпагу и плашмя ударил по лицу этого друга гизов. Тот выхватил из-за луки пистолет и в упор выстрелил в Мержи. К счастью, вспыхнул только запал. Любовник Дианы ответил сильным ударом шпаги по голове врага, так что тот свалился с лошади, обливаясь кровью. Народ, до сих пор бывший невозмутимым зрителем, сейчас же принял сторону раненого. На молодого гугенота посыпались камни и палочные удары, и так как всякое

сопротивление было бесполезно, он решил хорошенько пришпорить лошадь и спастись галопом. Но при слишком крутом повороте лошадь у него упала и опрокинула его, так что он, хоть и не был ранен, все же не мог подняться достаточно быстро, и разъяренная толпа успела окружить его. Тогда он прислонился к стене и некоторое время отражал тех, которых могла достигнуть его шпага. Но сильный удар палкой сломал лезвие, его сбили с ног и разорвали бы на части, если бы какой-то францисканец, бросившийся на людей, теснивших его, не закрыл его своим телом.

— Что делаете вы, дети мои? — закричал он. — Отпустите его: он совершенно не виноват!

— Он гугенот! — в бешенстве завопили сотни голосов.

— Ну так что же? Дайте ему время раскаяться! Он еще может исправиться.

Руки, державшие Мержи, сейчас же его отпустили. Он поднялся, подобрал обломок своей шпаги и собирался дорого продать свою жизнь, если придется выдерживать новый натиск.

— Оставьте жизнь этому человеку, — продолжал монах, — потерпите немного. Еще несколько дней — и гугеноты пойдут к обедне.

— Потерпеть, потерпеть! — повторило несколь-

ко голосов с неудовольствием. — Нам уже давно твердят, чтобы мы потерпели, а пока что каждое воскресенье, во время проповедей, их пение смущает добрых христиан.

— Ну что ж? Разве вы не знаете пословицы, — продолжал монах весело, — *Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить.* Пускай повоют еще немного; скоро благодатью Пресвятой Богородицы Августовской вы услышите, как они запоют мессу по-латыни. Что же касается этого молодого нехристя, отдайте его мне: я хочу привести его в христианский вид. Ступайте себе и от желания скорее съесть жаркое не пережарьте его.

Толпа рассеялась ворча, но не причинив никакой обиды Мержи. Ему даже вернули лошадь.

— В первый раз в жизни, отец мой, — сказал он, — с удовольствием смотрю на рясу вашего ордена. Поверьте моей благодарности и соблаговолите принять этот кошелек.

— Если он предназначен для бедных, молодой человек, я его беру. Имейте в виду, что я интересуюсь вами. Я знаком с вашим братом и вам желаю добра. Сегодня же переходите в католичество. Идемте со мной, и дело ваше будет сделано в одну минуту.

— За это, отец мой, благодарю вас. У меня нет никакого желания переходить в католичество. Но откуда вы меня знаете? Как вас зовут?

— Зовут меня брат Любен… и… плутишка, я вижу, что вы частенько бродите вокруг одного дома… Тсс! Теперь скажите, господин де Мержи, верите вы, что монах может делать добро?

— Я всем буду говорить о вашем великодушии, отец Любен.

— Так что вы не хотите переменить проповедь на мессу?

— Еще раз — нет. И в церковь я буду ходить, только чтобы слышать ваши проповеди.

— Вы, по-видимому, человек со вкусом.

— И сверх того, ваш большой поклонник.

— Ей-богу, мне очень досадно, что вы хотите оставаться при своей ереси. Я вас предупредил, сделал, что мог. Будь что будет. Что касается меня, то я умываю руки. Прощайте, мой мальчик.

— Прощайте, отец мой.

Мержи снова сел на лошадь и доехал до своего дома, немного разбитый, но очень довольный тем, что так дешево отделался от такой скверной истории.

XX. Легкая кавалерия

Jaffier. He amongts us
That spares his father, brother,
or his friend Is damned.

Otway. Venice Preserved, III, 2

Джефир. И тот из нас,
Кто брата пощадит, отца иль друга,
Будь проклят!

Отвей. Спасенная Венеция, III, 2

Вечером 24 августа отряд легкой кавалерии входил в Париж через Сент-Антуанские ворота. По сапогам и платью всадников, сплошь покрытым пылью, видно было, что они только что совершили длинный переход. Последние лучи умирающего дня освещали загорелые лица солдат; на этих лицах можно было прочесть смутное беспокойство, которое овладевает человеком при приближении какого-нибудь события, еще неведомого, но вызывающего зловещие предчувствия.

Отряд шагом направился к большому пустырю, простиравшемуся около прежнего Турнельского дворца. Там капитан приказал остановиться;

затем послал дюжину людей под начальством корнета на разведку и сам расставил при входе в соседние улицы караулы, которым он дал приказ зажечь фитили, словно перед лицом неприятеля. Приняв эти необычные меры предосторожности, он вернулся и встал перед фронтом отряда.

— Сержант! — произнес он более жестко и повелительно, чем обычно.

Старый кавалерист, в шляпе с золотым галуном и с вышитой перевязью, почтительно приблизился к начальнику.

— Все ли всадники у нас снабжены фитилями?

— Так точно, капитан.

— Есть ли порох в пороховницах? Достаточно ли пуль?

— Так точно, капитан.

— Хорошо! — Он пустил шагом свою кобылу вдоль фронта своего маленького отряда. Сержант следовал за ним на расстоянии длины лошади. Он заметил, что капитан не в духе, и не смел приблизиться к нему. Наконец он набрался храбрости:

— Капитан, разрешите кавалеристам дать корм лошадям. Как вам известно, они с утра не ели.

— Нет.

— Пригоршню овса, времени это займет не много.

— Пусть ни одна лошадь не будет разнуздана.

— Ведь сегодня ночью нам предстоит работа… как говорят, и это, может быть…

Офицер сделал нетерпеливое движение.

— Вернитесь на свой пост, — ответил он сухо. И он продолжал свою прогулку. Сержант вернулся в ряды солдат.

— Ну как, сержант, правда? Что будут делать? В чем дело? Что сказал капитан?

Десятка два вопросов сразу были ему заданы старыми солдатами, которые благодаря своим заслугам и долгой совместной службе с сержантом могли позволить себе фамильярность по отношению к своему старшому.

— Ну, будет дело! — сказал сержант тоном человека, который знает больше, чем говорит.

— Как? Как?

— Не разнуздывать ни на миг… потому что, как знать, с минуты на минуту мы можем понадобиться.

— Ага! Разве собираются драться? — спросил трубач. — А с кем будем драться, хотелось бы мне знать?

— С кем? — повторил вопрос сержант, чтобы дать себе время подумать. — Черт возьми, хорош вопрос! С кем же, по-твоему, драться, как не с

врагами короля?

— Так-то так, но кто же эти враги короля? — продолжал вопросы упрямый трубач.

— Враги короля? Он не знает, кто враги короля! — И сержант с сожалением пожал плечами.

— Испанец — враг короля, но он не мог бы так потихоньку сюда явиться; его бы заметили, — вставил один из кавалеристов.

— Пустяки! — начал другой. — Я знаю много врагов короля, которые вовсе не испанцы.

— Бертран прав, — сказал сержант, — и я знаю, кого он имеет в виду.

— Кого же?

— Гугенотов, — ответил Бертран. — Не надо быть колдуном, чтобы догадаться. Всем известно, что веру свою гугеноты взяли из неметчины, а я хорошо знаю, что немцы — нам враги, потому что частенько стрелял в них из пистолета, особенно при Сен-Кантене, где они дрались как черти.

— Все это прекрасно, — сказал трубач, — но ведь с ними заключен мир, и, помнится, много шума было по этому случаю.

— Доказательством, что они не враги нам, — сказал молодой кавалерист, одетый лучше, чем другие, — служит то, что во время войны, которую мы собираемся вести во Фландрии, командовать

легкой конницей будет граф Ларошфуко; а кому не известно, что он — протестант! Дьявол меня побери, если он не кальвинист с головы до пят: шпоры у него *à la*[46]*Конде,* шляпа у него *à la гугенот.*

— Заешь его чума! — воскликнул сержант. — Ты еще не знаешь этого, Мерлен (тебя не было у нас в полку): ведь Ларошфуко командовал во время той засады, когда мы все чуть не полегли при Ла-Робре в Пуату. Прековарный малый!

— Он же сказывал, — прибавил Бертран, — что отряд рейтаров большего стоит, чем эскадрон легкой кавалерии. Я так же верно это знаю, как то, что эта лошадь — пегая. Мне передавал это паж королевы.

Среди слушателей послышались негодующие возгласы, но они сейчас же уступили место любопытству узнать, против кого направлены военные приготовления и те чрезвычайные меры предосторожности, которые принимались у них на глазах.

— Правда ли, сержант, — спросил трубач, — что вчера пытались убить короля?

— Бьюсь об заклад, что тут замешаны эти…

---

[46] Примечания: 46
На манер (*фр.*).

еретики.

— Хозяин гостиницы «Андреевский крест», где мы вчера завтракали, за верное рассказывал, что они хотят переделать весь церковный устав.

— Тогда все дни будут скоромными, — весьма философски заметил Мерлен, — кусок вареной солонины вместо чашки бобов. Тут еще огорчаться нечему!

— Да, но если гугеноты будут у власти, первым делом они расколошматят, как посуду, все отряды легкой кавалерии и на их место поставят своих собак, немецких рейтаров.

— Если так, так я охотно наломал бы им хвосты! Провалиться на этом месте, тут будешь католиком! Послушайте, Бертран, вы служили у протестантов; правда ли, что адмирал конным солдатам платит только по восьми су?

— Ни копейки больше, старый скряга! Потому-то после первого же похода я и бросил его.

— Здорово сегодня не в духе капитан, — заметил трубач. — Всегда такой славный малый, с солдатом охотно разговаривает, сегодня рта не раскрыл за всю дорогу.

— Новости его не веселят, — ответил сержант.

— Какие новости?

— Наверное, насчет того, что хотят предпри-

нять гугеноты.

— Гражданская война скоро опять начнется, — сказал Бертран.

— Тем лучше для нас, — сказал Мерлен, всегда смотревший на вещи с хорошей стороны, — можно будет драться, жечь деревни, баловаться с гугенотками.

— По всем видимостям, они захотели снова начать свое старое Амбуазское дело, — произнес сержант, — потому нас и вызвали. Мы живо наведем порядок.

В эту минуту вернулся корнет со своим отрядом; он приблизился к капитану и стал ему тихонько докладывать, меж тем как солдаты, которые с ним ездили, смешались со своими товарищами.

— Черт возьми, — сказал один из ходивших на разведку, — не понять, что делается сегодня в Париже; на улицах мы ни одной кошки не встретили, а вместо того Бастилия набита войском: я видел, на дворе торчали пики швейцарцев, все равно как ржаные колосья.

— Не больше пяти сотен, — перебил другой.

— Верно то, — продолжал первый, — что гугеноты пытались убить короля и в драке адмирала собственноручно ранил великий герцог де Гиз.

— Ах, так ему и надо, разбойнику! — восклик-

нул сержант.

— Я сам слышал, — продолжал кавалерист, — как эти швейцарцы на своем тарабарском языке толкуют, что слишком долго во Франции терпят еретиков.

— Правда, с некоторого времени они задрали нос, — сказал Мерлен.

— Можно подумать, что они побили нас при Жарнаке и Монконтуре, так они чванятся и хорохорятся!

— Они бы хотели, — вставил трубач, — съесть окорок, а нам кость оставить.

— Пора, пора католикам задать им хорошую трепку!

— Взять хоть меня. «Сержант, — сказал бы мне король, — убей мне этих негодяев»; так пусть меня разжалуют, если я заставлю повторить себе это два раза.

— Бель-Роз, расскажи-ка нам, что делал наш корнет? — спросил Мерлен.

— Он поговорил с каким-то швейцарцем вроде офицера, но я не мог расслышать, о чем они говорили. Должно быть, что-нибудь интересное, потому что он каждую минуту восклицал: «Ах, Боже мой!», «Ах, Боже мой!».

— Смотрите-ка, к нам конные скачут гало-

пом, — верно, приказ везут.

— Их двое, по-моему.

Капитан и корнет отправились к ним навстречу.

Двое всадников быстро направились к отряду легкой кавалерии. Один из них, богато одетый, в шляпе, покрытой перьями, с зеленой перевязью, ехал на боевом коне. Спутником его был толстый, коротенький, коренастый человек, одетый в черное платье и с большим деревянным распятием в руках.

— Наверняка будут драться, — заметил сержант, — вон батюшку послали, чтобы исповедовать раненых.

— Не очень приятно драться натощак, — проворчал Мерлен.

Двое всадников замедлили ход, так что когда они подъехали к капитану, то без труда могли остановить лошадей.

— Целую руки господину де Мержи, — произнес человек с зеленой перевязью. — Узнает ли он своего покорного слугу Тома де Морвеля?

Капитану еще не было известно новое преступление Морвеля, он знал его только как убийцу храброго де Муи. Он ответил крайне сухо:

— Я не знаю никакого господина де Морвеля. Я

предполагаю, что вы пожаловали объяснить нам, в конце концов, зачем мы находимся здесь.

— Дело идет, сударь, о спасении нашего доброго короля и нашей святой веры от опасности, грозящей им.

— Какая же это опасность? — спросил Жорж презрительно.

— Гугеноты составили заговор против его величества. Но их преступный замысел вовремя был открыт, благодарение Богу, и все верные христиане сегодня ночью должны соединиться, чтобы истребить их во время сна.

— Как были истреблены мадианиты мужем силы, Гедеоном, — добавил человек в черном платье.

— Что я слышу? — воскликнул де Мержи, затрепетав от ужаса.

— Горожане вооружены, — продолжал Морвель, — в городе находится французская гвардия и три тысячи швейцарцев. У нас около шестидесяти тысяч человек наших; в одиннадцать часов будет дан сигнал, и дело начнется.

— Презренный разбойник! Что за гнусную клевету ты изрыгаешь? Король не предписывает убийств… самое большее, он за них платит.

Но при этих словах Жорж вспомнил о странном

разговоре, который он имел с королем несколько дней назад.

— Не выходите из себя, господин капитан; если бы все мои заботы не были устремлены на службу королю, я бы ответил на ваши оскорбления. Слушайте: я являюсь от имени его величества с требованием, чтобы вы и ваш отряд последовали за мной. Нам поручены Сент-Антуанский и прилегающие к нему кварталы. Я привез вам подробный список лиц, которых мы должны истребить. Преподобный отец Мальбуш сделает наставление вашим солдатам и раздаст им белые кресты, какие будут у всех католиков, чтобы в темноте не приняли католика за еретика.

— Чтобы я дал согласие на убийство спящих людей?

— Католик ли вы и признаете ли Карла Девятого своим королем? Известна ли вам подпись маршала де Ретца, которому вы обязаны повиноваться?

Тут он вынул из-за пояса бумагу и передал ее капитану.

Мержи подозвал одного из всадников и при свете соломенного факела, зажженного о фитиль аркебузы, прочел форменный приказ, предписывающий по повелению короля капитану де

Мержи оказать вооруженную помощь французской гвардии и отдать себя в распоряжение господина де Морвеля для дела, которое объяснит ему вышеуказанный Морвель. К приказу был приложен список имен с таким заголовком: «Список еретиков, подлежащих умерщвлению, в Сент-Антуанском квартале». При свете факела, горящего в руке солдата, всем кавалеристам было видно, какое глубокое впечатление произвел на их начальника этот приказ, о существовании которого он еще не знал.

— Никогда мои кавалеристы не согласятся сделаться убийцами, — произнес Жорж, бросая бумагу в лицо Морвелю.

— Разговор идет не об убийстве, — холодно заметил священник, — речь идет о еретиках и о справедливом воздаянии по отношению к ним.

— Ребята! — закричал Морвель, повысив голос и обращаясь к солдатам. — Гугеноты хотят убить короля и истребить католиков — это надо предупредить сегодня ночью; покуда они спят, мы всех их перебьем, и король отдает вам их дома на разграбление.

Крик дикой радости пронесся по всем рядам:

— Да здравствует король! Смерть гугенотам!

— Смирно! — закричал громовым голосом

капитан. — Здесь я один имею право отдавать приказания своим солдатам. Товарищи! То, что говорит этот подлец, не может быть правдой. И даже если бы король и отдал такое приказание, никогда мои кавалеристы не согласятся убивать беззащитных людей.

Солдаты промолчали.

— Да здравствует король! Смерть гугенотам! — разом закричали Морвель и его спутник. И солдаты повторили за ними:

— Да здравствует король! Смерть гугенотам!

— Ну как же, капитан, будете вы повиноваться? — произнес Морвель.

— Я больше не капитан! — воскликнул Жорж. И он сорвал с себя нагрудный знак и перевязь, знаки своего чина.

— Хватайте этого изменника! — закричал Морвель, обнажая шпагу. — Убейте этого бунтовщика, который не повинуется своему королю!

Но ни у одного солдата не поднялась рука на своего начальника… Жорж выбил шпагу из рук Морвеля, но вместо того, чтобы пронзить его своей шпагой, он ударил его рукояткой по лицу с такой силой, что свалил с лошади на землю.

— Прощайте, трусы! — сказал он своему отряду. — Я думал, что у меня солдаты, а оказывается,

у меня были только убийцы! — Потом обернулся к корнету: — Вот, Альфонс, если хотите, прекрасный случай сделаться капитаном! Станьте во главе этих бандитов.

С этими словами он пришпорил лошадь и галопом помчался по направлению к внутренней части города. Корнет двинулся на несколько шагов, как будто хотел за ним последовать, но вскоре замедлил ход, пустил лошадь шагом, наконец остановился, повернул обратно и возвратился к своему отряду, рассудив, без сомнения, что совет капитана, хотя и данный в минуту гнева, все же не перестает быть хорошим советом.

Морвель, еще не совсем оправившись от полученного удара, снова сел на лошадь, чертыхаясь, а монах, подняв распятие, наставлял солдат не щадить ни одного гугенота и потопить ересь в потоке крови.

Солдат на минуту остановили упреки капитана, но, увидя, что они освободились от его присутствия, и имея перед глазами перспективу знатного грабежа, они взмахнули саблями и поклялись исполнить все, что бы ни приказал им Морвель.

XXI. Последнее усилие

Soothsayer. Beware the Ides of March!

Shakespeare. Julius Caesar, I, 2

Прорицатель. Ид Марта берегись!

Шекспир. Юлий Цезарь, I, 2

В тот же вечер, в обычный час, Мержи вышел из дому и, хорошенько закутавшись в плащ, цветом не отличавшийся от стен, надвинув шляпу на глаза, с надлежащей осторожностью направился к дому графини. Не успел он сделать нескольких шагов, как встретился с хирургом Амбруазом Паре, с которым был знаком, так как тот ходил за ним, когда он лежал раненым. Паре, вероятно, шел из особняка Шатильона, и Мержи, назвав себя, осведомился об адмирале.

— Ему лучше, — ответил хирург, — рана в хорошем состоянии, и больной крепок здоровьем. С помощью Божьей он поправится. Надеюсь, что прописанное мной питье будет для него целительно и он проведет ночь спокойно.

Какой-то человек из простонародья, проходя мимо них, услышал, что они говорят об адмирале. Когда он отошел достаточно далеко, так

что мог быть наглым без боязни навлечь на себя наказание, он крикнул: «Попляшет уж скоро на виселице ваш чертов адмирал!» — и бросился со всех ног бежать.

— Несчастная каналья! — произнес Мержи. — Меня берет досада, что наш великий адмирал принужден жить в городе, где столько людей относятся к нему враждебно.

— К счастью, его дворец под хорошей охраной, — ответил хирург. — Когда я выходил от него, все лестницы были полны солдат, и у них даже фитили на ружьях были зажжены. Ах, господин де Мержи, здешний народ нас не любит… Но уже поздно, и мне нужно возвращаться в Лувр.

Они расстались, пожелав друг другу доброго вечера, и Мержи продолжал свою дорогу, предавшись розовым мечтам, которые заставили его живо позабыть адмирала и ненависть католиков.

Однако он не мог не заметить необычайного движения на парижских улицах, обычно с наступлением ночи мало оживленных. То ему встречались крючники, несшие на плечах тяжести странной формы, которые он в темноте готов был принять за связки пик, то небольшие отряды солдат, которые шли молча, с ружьями на плече,

с зажженными фитилями; кое-где стремительно открывались окна, на минуту в них показывались какие-то фигуры со свечками и сейчас же исчезали.

— Эй, — крикнул он какому-то крючнику, — дяденька, куда это вы несете вооружение так поздно ночью?

— В Лувр, сударь, — для сегодняшнего ночного развлечения.

— Товарищ, — обратился Мержи к какому-то сержанту, шедшему во главе патруля, — куда это вы идете вооруженными?

— В Лувр, ваше благородие, — для сегодняшнего ночного развлечения.

— Эй, паж, разве вы не из королевского дворца? Куда же вы ведете со своими товарищами этих лошадей в боевой сбруе?

— В Лувр, ваше благородие, — для сегодняшнего ночного развлечения.

«Сегодняшнего ночного развлечения! — повторил про себя Мержи. — Кажется, все, кроме меня, понимают, в чем дело. В конце концов, мне-то что? Король может и без меня развлекаться, и меня не особенно интересует смотреть на его развлечения».

Немного далее он заметил плохо одетого чело-

века, который останавливался перед некоторыми домами и мелом отмечал двери белым крестом.

— Дядя, вы фурьер, что ли, что так отмечаете квартиры?

Незнакомец исчез, ничего не ответив.

На повороте улицы, когда он попал на ту, где жила графиня, он чуть не столкнулся с человеком, закутанным, как и он, в широкий плащ, который огибал тот же угол улицы, но в противоположном направлении. Несмотря на темноту и на то, что оба они были одинаково незаметными для других, они тотчас же узнали друг друга.

— А, добрый вечер, господин де Бевиль, — произнес Мержи, протягивая ему руку.

Чтобы подать ему правую руку, Бевиль сделал странное движение под плащом; он переложил из правой руки в левую какой-то тяжелый предмет. Плащ приоткрылся немного.

— Привет доблестному бойцу, дорогому сердцам красавиц! — воскликнул Бевиль. — Бьюсь об заклад, что мой благородный друг отправляется на счастливое свидание!

— А вы сами, сударь?.. По-видимому, мужья что-то не очень дружелюбно на вас посматривают, так как, если не ошибаюсь, у вас на плечах кольчуга, а то, что вы несете под плащом, ужасно

похоже на пистолеты.

— Нужно быть осторожным, господин Бернар, крайне осторожным. — При этих словах он тщательно поправил свой плащ так, чтобы скрыть вооружение, которое на нем было.

— Я бесконечно сожалею, что сегодня вечером не могу предложить вам свои услуги и шпагу, чтобы охранять улицу и нести караул у дверей вашей возлюбленной. Сегодня для меня это невозможно, но при всяком другом случае соблаговолите располагать мной.

— Сегодня вам невозможно пойти со мной, господин де Мержи. — Эти немногие слова сопровождались странной улыбкой.

— Ну, удачи! Прощайте!

— Вам я тоже желаю *удачи!* — В манере, с какой он произнес эти прощальные слова, была некоторая подчеркнутость.

Они разошлись, и Мержи уже отошел на несколько шагов, как вдруг услышал, что Бевиль его окликает. Он обернулся и увидел, что тот к нему возвращается.

— Ваш брат в Париже?

— Нет. Но я жду его со дня на день. Да, кстати, вы участвуете в сегодняшнем ночном развлечении?

— В развлечении?

— Да. Повсюду носятся слухи, что сегодня ночью при дворе будет какое-то развлечение.

Бевиль что-то пробормотал сквозь зубы.

— Еще раз прощайте! — сказал Мержи. — Я немного тороплюсь и… Вы понимаете, что я хочу сказать?

— Послушайте, послушайте, еще одно слово! Я не могу оставить вас, не дав вам дружеского совета!

— Какого совета?

— Не ходите к ней сегодня вечером! Поверьте мне; завтра вы поблагодарите меня.

— В этом и заключается ваш совет? Но я вас не понимаю. К какой *к ней?*

— Полноте, мы понимаем друг друга. Но если вы благоразумны, переправьтесь сегодня же вечером на тот берег Сены.

— За этими словами скрывается какая-нибудь шутка?

— Нисколько. Я говорю серьезнее, чем когда бы то ни было. Повторяю: переправьтесь через Сену. Если дьявол не дает вам покоя, идите к монастырю якобитов на улице Святого Якова. Через двое ворот от добрых отцов вы увидите большое деревянное распятие, прибитое к дому; довольно убогого вида. Вывеска довольно странная, но это

ничего не значит. Вы постучите и найдете весьма услужливую старушку, которая из уважения ко мне примет вас очень хорошо… Перенесите вашу ненасытность на тот берег Сены. У матушки Брюлар племянницы миленькие и хорошенькие. Понимаете?

— Вы слишком добры, покорнейше благодарю.

— Нет, право. Последуйте моему совету. Честное слово дворянина, это вам будет на пользу.

— Благодарю вас. Я воспользуюсь вашим предложением как-нибудь в другой раз. Сегодня меня ждут. — И Мержи двинулся вперед.

— Переезжайте через Сену, мой храбрец, это мое последнее слово! Если с вами случится несчастье из-за того, что вы не послушались моего совета, я умываю руки.

Мержи поразила непривычная серьезность, с которой говорил Бевиль. Бевиль уже повернулся спиной; на этот раз Мержи его окликнул:

— Какого черта все это значит? Объясните мне, господин де Бевиль, перестаньте говорить загадками.

— Дорогой мой, я, быть может, не должен был бы говорить вам так ясно, но *переправьтесь за реку до наступления полуночи* — и прощайте.

— Но…

Бевиль был уже далеко. Мержи с минуту догонял его, но вскоре, устыдясь, что теряет время, которое можно было лучше употребить, вернулся и дошел до сада, куда ему нужно было войти. Ему пришлось прогуливаться некоторое время взад и вперед, чтобы переждать, пока не будет прохожих. Он боялся, как бы им не показалось странным, что в такое позднее время он входит через садовую калитку. Ночь была прекрасной, тихий зефир умерял ее теплоту, луна то показывалась, то исчезала среди легких белых облачков. Эта ночь была создана для любви.

На минуту улица оказалась пустынной; он сейчас же открыл калитку и без шума запер ее за собой. Сердце билось у него сильно, но думал он только о наслаждениях, которые ждали его у Дианы, а зловещие мысли, зародившиеся в его душе под влиянием странных слов Бевиля, были теперь далеки.

Он на цыпочках подошел к дому. В полуоткрытом окне за красной занавеской горела лампа; то был условный знак. В мгновение ока он очутился в молельне своей любовницы.

Она полулежала на очень низком диване, обитом темно-синим атласом. Ее длинные черные волосы в беспорядке рассыпались по подуш-

ке, к которой прислонилась она головой. Глаза у нее были закрыты, и казалось, она с трудом удерживала их в этом положении. Единственная серебряная лампа, подвешенная к потолку, освещала покой и весь свой свет направляла на бледное лицо и пламенные губы Дианы де Тюржи. Как только раздался скрип сапог Мержи по ковру молельни, она подняла голову, открыла глаза и рот, задрожала и с трудом подавила крик ужаса.

— Я тебя испугал, мой ангел? — спросил Мержи, становясь на колени перед ней и наклонясь к подушке, на которую прекрасная графиня снова уронила свою голову.

— Наконец-то ты! Слава Богу!

— Я заставил тебя ждать? Еще далеко нет полночи.

— Ах, оставьте меня… Бернар… Никто не видел, как вы входили?

— Никто… Но что с тобой, любовь моя? Почему эти прелестные губки отворачиваются от меня?

— Ах, Бернар… если бы ты знал!.. О, прошу тебя, не мучь меня! Я ужасно страдаю… У меня адская мигрень… бедная голова горит как в огне!

— Бедняжка!

— Сядь около меня… и, пожалуйста, не проси

от меня сегодня ничего… я совсем больна! — Она зарылась лицом в подушки дивана, и у нее вырвался жалобный стон. Потом вдруг она приподнялась на локте, отбросив густые волосы, покрывшие ей все лицо, и, схватив руку Мержи, положила ее себе на висок. Он почувствовал, что артерия сильно бьется.

— У тебя холодная рука, мне от нее легче, — произнесла она.

— Милая Диана, как бы я хотел, чтоб у меня была мигрень вместо тебя! — сказал он, целуя ее в горячий лоб.

— Ах да… и я хотела бы… Положи кончики своих пальцев мне на веки, это меня облегчит. Мне кажется, что, если бы я заплакала, я не так мучилась бы; но я не могу плакать.

Наступило продолжительное молчание, нарушаемое только неровным и затрудненным дыханием графини. Мержи на коленях около дивана нежно поглаживал и изредка целовал закрытые веки своей прекрасной Дианы. Левой рукой он опирался на подушку, и пальцы его возлюбленной, сплетенные с его пальцами, время от времени сжимали их как бы судорожным движением. Дыхание Дианы, нежное и горячее в то же время, страстно щекотало губы Мержи.

— Дорогая моя, — сказал он наконец, — мне кажется, что тебя мучает нечто большее, чем мигрень. Есть ли у тебя причины к огорчению… и почему ты мне не скажешь о них? Разве ты не знаешь, что мы любим друг друга для того, чтобы делить пополам не только наслаждения, но и страдания?

Графиня покачала головой, не открывая глаз. Ее губы зашевелились, но не издали раздельного звука; потом, как бы истощенная этим усилием, она снова уронила голову на плечо Мержи. В эту минуту на часах пробило половина двенадцатого. Диана вздрогнула и, вся трепеща, поднялась на постели.

— Право же, вы меня пугаете, дорогая моя!

— Ничего… еще ничего, — произнесла она глухим голосом. — Ужасный бой у этих часов! С каждым ударом как будто раскаленное железо входит мне в голову!

Мержи не нашел лучшего лекарства и лучшего ответа, как поцеловать склонившийся к нему лоб. Вдруг она вытянула руки, положила их на плечи возлюбленному и, продолжая находиться в полулежачем положении, уставилась на него блестящими глазами, которые, казалось, готовы были его пронзить.

— Бернар, — сказала она, — когда ты обратишься в католичество?

— Милый ангел, не будем говорить об этом сегодня: тебе от этого будет хуже.

— Я больна от твоего упрямства… но тебе до этого нет дела! К тому же время не терпит; и хотя бы я была на смертном одре, я бы до последнего моего дыхания не переставала тебя усовещевать.

Мержи хотел закрыть ей рот поцелуем. Довод этот довольно хороший и может служить ответом на все вопросы, которые любовнику может задать его возлюбленная. Но Диана, которая обычно шла ему навстречу, на этот раз с силой и почти с негодованием оттолкнула его.

— Послушайте, господин де Мержи, я все дни плачу кровавыми слезами при мысли о вас и вашем заблуждении. Вы знаете, люблю ли я вас. Судите сами, каковы должны быть мои страдания, когда я подумаю, что тот, кто для меня дороже жизни, может в любую минуту погибнуть душой и телом.

— Диана, вы знаете, что мы условились больше не говорить на эту тему.

— Следует говорить об этом, несчастный! Кто знает, остался ли тебе еще час, чтобы покаяться?

Необыкновенная интонация ее голоса и стран-

ные фразы невольно напомнили Мержи необычные предупреждения, только что полученные им от Бевиля. Помимо воли он был взволнован этим, но сдержался и приписал исключительно ее благочестию это усиление проповеднического жара.

— Что вы хотите сказать, дорогая моя? Или вы думаете, что потолок сейчас упадет мне на голову нарочно, чтоб убить гугенота, как прошлой ночью на нас упал ваш полог? Тогда, к счастью, мы отделались тем, что поднялось немного пыли.

— Ваше упрямство приводит меня в отчаяние! Послушайте, мне приснилось, что ваши враги собираются убить вас; я видела, что, весь в крови, раздираемый их руками, вы испустили последнее дыхание раньше, чем я поспела привести к вам своего духовника.

— Мои враги? По-моему, у меня их нет.

— Безумец! Разве вам не враги все, кто ненавидит вашу ересь? Разве это не вся Франция? Да, все французы должны быть вам врагами, пока вы остаетесь врагом Господа Бога и Церкви.

— Оставим это, моя владычица! Что касается ваших сновидений, обратитесь за толкованием их к старой Камилле; я в этом ничего не понимаю. Поговорим о чем-нибудь другом. Вы, кажется, были сегодня при дворе, там, вероятно, вы и схва-

тили эту мигрень, которая вам причиняет такие страдания, а меня выводит из себя.

— Да, я вернулась оттуда, Бернар. Я видела королеву и вышла от нее… с твердым решением сделать последнюю попытку заставить вас переменить… Это надо сделать, это непременно надо сделать!

— Мне кажется, — прервал ее Бернар, — мне кажется, моя дорогая, что раз, несмотря на ваше нездоровье, у вас хватает силы проповедовать с таким пылом, — с вашего позволения, мы могли бы провести время еще приятнее.

Она встретила эту шутку пренебрежительным и разгневанным взглядом.

— Отверженный! — сказала она вполголоса, будто самой себе. — Почему так нужно, чтобы я была такой слабой с ним? — Затем продолжала более громким голосом: — Я вижу ясно, что вы меня не любите и цените меня не более, чем какую-нибудь лошадь! Только бы я служила для вашего наслаждения, а что за дело до того, что я раздираюсь страданиями… Ведь только ради вас, ради вас одного я согласилась на угрызения совести, в сравнении с которыми все муки, что может выдумать человеческая ярость, — ничто! Одно слово, слетевшее с ваших уст, могло бы вер-

нуть моей душе мир; но слова этого вы никогда не произнесете. Вы не захотите пожертвовать ради меня ни одним из ваших предрассудков.

— Диана, дорогая, какому преследованию я подвергаюсь! Будьте справедливы, вернее — не будьте ослеплены вашим религиозным рвением. Ответьте мне: найдете ли вы другого раба, более покорного, чем я, во всем, что касается моих поступков и мыслей? Но нужно ли вам повторять, что я могу скорее умереть за вас, чем уверовать в некоторые вещи?

Она пожимала плечами, слушая его и смотря на него с выражением, доходившим почти до ненависти.

— Я не мог бы, — продолжал он, — ради вас сделать так, чтобы мои темно-русые волосы сделались светлыми. Я не мог бы для вашего удовольствия изменить форму своего телосложения. Вера моя — часть моего тела, дорогая, и оторвать ее от меня можно только вместе с жизнью. Пусть мне хоть двадцать лет читают проповеди — все равно меня не заставят верить, что кусочек пресного хлеба…

— Умолкни! — прервала она его повелительно. — Никаких кощунств! Я все пробовала — ничто не увенчалось успехом! Все вы, зараженные

ядом ереси, народ крепкоголовый, ваши глаза и уши закрыты для истины, вы боитесь видеть и слышать! Но вот приспело время, когда вы не будете больше ни слышать, ни видеть… Существует одно средство уничтожить эту язву Церкви, и средство это будет применено!

Она сделала несколько шагов по комнате со взволнованным видом и продолжала:

— Менее чем через час отсекут все семь голов еретической гидры! Мечи отточены, и верные готовы! Нечестивцы исчезнут с лица земли!

Затем, вытянув палец к часам, стоявшим в углу комнаты, она сказала:

— Смотри, у тебя есть еще четверть часа, чтобы покаяться! Когда стрелка дойдет до этой точки, судьба твоя будет решена!

Она еще не кончила, как донесся глухой шум, похожий на гул толпы, волнующейся вокруг большого пожара, сначала смутно, потом, казалось, он с быстротой увеличивался; спустя несколько минут вдали уж можно было различить звон колоколов и залпы огнестрельного оружия.

— Что за ужасы вы возвещаете? — воскликнул Мержи.

Графиня бросилась к окну и распахнула его.

Тогда шум, не задерживаемый больше стек-

лами и занавесками, донесся более отчетливо. Казалось, можно было разобрать крики скорби и радостный вой. Красноватый дым подымался к небу и взвивался над всеми частями города, насколько было доступно зрению. Его можно было бы принять за огромный пожар, если бы комнату сейчас же не наполнил запах смолы, который мог исходить только от тысячи зажженных факелов. В то же время блеск залпа, произведенного, казалось, на ближней улице, на минуту осветил стекла соседнего дома.

— Избиение началось! — воскликнула графиня, в ужасе схватившись за голову.

— Какое избиение? Что вы хотите сказать?

— Сегодня в ночь режут всех гугенотов — так приказал король! Все католики взялись за оружие, и ни один еретик не будет пощажен! Церковь и Франция спасены, но ты погиб, если не отречешься от своей ложной веры!

Мержи почувствовал, как холодный пот покрыл все его тело. Он блуждающими глазами смотрел на Диану де Тюржи, чьи черты выражали странное соединение отчаяния и торжества. Ужасающий грохот, поражавший его слух и наполнявший весь город, достаточно подтверждал справедливость страшной новости, которую

он только что услышал. Несколько мгновений графиня стояла неподвижно, молча устремив на него взоры; только пальцем, указывающим на окно, казалось, хотела она возбудить воображение Мержи, чтобы оно нарисовало ему кровавые сцены, которые можно было себе представить по этим людоедским крикам и освещению. Мало-помалу выражение лица ее смягчилось, дикая радость исчезла, остался ужас. Наконец, упав на колени, она вскричала умоляющим голосом:

— Бернар, заклинаю тебя, спаси свою жизнь, обратись в католичество! Спаси свою жизнь и мою, которая зависит от твоей!

Мержи бросил на нее дикий взгляд, а она, не вставая с колен, следовала за ним по комнате, протянув руки. Не отвечая на ее мольбы, он побежал в глубь молельни, где схватил свою шпагу, которую оставил там на кресле.

— Несчастный, что же ты собираешься сделать? — воскликнула графиня, подбегая к нему.

— Защищаться! Меня не зарежут как барана!

— Безумный, тысячи шпаг не спасли бы тебя! Весь город под оружием. Королевская гвардия, швейцарцы, горожане, народ — все принимают участие в избиении, и нет ни одного гугенота, к груди которого в настоящую минуту не было бы

приставлено до десятка кинжалов. Одно осталось средство избавиться от смерти — сделайся католиком!

Мержи был храбр, но, думая об опасностях, которые, по-видимому, предвещала эта ночь, он на минуту почувствовал, как подлый страх шевельнулся в глубине его души; даже мысль спасти себя отречением от своей веры мелькнула у него в уме с быстротой молнии.

— Я отвечаю за твою жизнь, если ты сделаешься католиком, — сказала Диана, сложив руки.

«Если я отрекусь, — подумал Мержи, — я сам себя буду презирать всю жизнь». Одной этой мысли было достаточно, чтобы храбрость к нему вернулась и еще удвоилась чувством стыда за минуту слабости. Он нахлобучил свою шляпу, застегнул портупею и, обмотав плащ вокруг левой руки вместо щита, с решительным видом двинулся к двери.

— Куда идешь ты, несчастный?

— На улицу! Я не хочу доставлять вам сожалений, оттого что меня зарезали в вашем доме, у вас на глазах.

В его голосе прозвучало такое презрение, что графиня была поражена. Она загородила ему дорогу. Он оттолкнул ее, и даже резко. Но она

ухватилась за полу его камзола и на коленях поволоклась за ним.

— Оставьте меня! — закричал он. — Что же, вы сами хотите предать меня кинжалам убийц? Любовница гугенота может искупить свои грехи, принеся в жертву своему Богу кровь возлюбленного.

— Остановись, Бернар, умоляю тебя! Одно мое желание — чтобы ты спасся! Пощади свою жизнь для меня, милый ангел! Спаси себя во имя нашей любви… Согласись произнести одно лишь слово — и, я клянусь тебе, ты будешь спасен!

— Как! Мне принять религию убийц и разбойников? Святые мученики за Евангелие, сейчас я к вам присоединюсь!

Он так порывисто вырвался из рук графини, что та с размаху упала на пол. Он хотел открыть выходную дверь, как вдруг Диана, вскочив с проворностью юной тигрицы, бросилась на него и сжала его в своих объятиях крепче сильного мужчины.

— Бернар! — вскричала она вне себя, со слезами на глазах. — Таким люблю я тебя еще больше, чем если бы ты сделался католиком! — И, увлекши его к дивану, она упала вместе с ним, покрывая его поцелуями и обливая слезами. — Останься здесь,

любовь моя единственная, останься со мной, храбрый мой Бернар! — говорила она, сжимая его и обвивая своим телом, как змея обвивает добычу. — Здесь, в моих объятиях, они не будут искать тебя; придется убить меня, чтобы добраться до твоей груди! Прости меня, мой милый; я не могла заранее предупредить тебя о грозящей опасности. Я была связана страшной клятвой. Но я спасу тебя или погибну вместе с тобой!

В эту минуту во входную дверь громко постучали. Графиня пронзительно вскрикнула, а Мержи освободился от ее объятий, не снимая плаща с левой руки, и сразу почувствовал в себе столько силы и решимости, что не задумался бы броситься очертя голову на сотню убийц, если бы они перед ним явились.

Почти во всех домах Парижа во входных дверях были маленькие квадратные отверстия с очень мелкой железной решеткой, так что обитатели дома могли раньше удостовериться, вполне ли безопасно для них открыть двери. Часто даже тяжелые дубовые двери, снабженные большими гвоздями и железной обивкой, не казались достаточно благонадежными для осторожных людей, которые не хотели сдаваться иначе, как после правильной осады. Поэтому с обеих сторон

дверей делали узкие бойницы, из которых, не будучи замеченным, можно было сколько угодно подстреливать осаждающих.

Старый верный конюший графини, исследовав через такую решетку, что за личность находится у дверей, и подвергнув ее подобающему опросу, вернулся и доложил своей хозяйке, что капитан Жорж де Мержи настоятельно просит впустить его. Страх прошел, и дверь была открыта.

XXII. Двадцать четвертое августа

Пускайте кровь! Пускайте кровь!

Слова маршала де Таванна

Покинув свой отряд, капитан Жорж поспешил к себе домой, надеясь найти там брата; но тот уже вышел из дому, сказав прислуге, что уходит на всю ночь. Из этого Жорж без труда сделал заключение, что он находится у графини, и поторопился отыскать его там. Но избиение уже началось; беспорядок, толпы убийц, цепи, протянутые через улицы, останавливали его на каждом шагу. Ему пришлось идти мимо Лувра, где фанатизм разыгрывался с наибольшей яростью. В этом квартале жило большое количество протестантов, и теперь он был запружен горожанами из католиков и гвардейскими солдатами с огнем и мечом в руках. Там-то, по энергичному выражению одного из тогдашних писателей[47], «*кровь лилась со всех сторон, ища стока к реке*», и нельзя было перейти через улицу, не рискуя, что в любую минуту вас могут раздавить каким-ни-

[47] Примечания: 47
Д'Обинье, «Всемирная история».

будь трупом, выброшенным из окна.

Из адской предусмотрительности большинство лодок, стоявших обычно вдоль Лувра, отведено было на другой берег, так что многим из беглецов, что метались по набережной Сены, надеясь сесть в лодку и избегнуть вражеских ударов, оставался выбор между водой и бердышами преследовавших их солдат. Меж тем, по слухам, видели, как Карл IX, вооружившись длинной аркебузой, из дворцового окна подстреливал, как дичь, бедных прохожих[48].

Капитан продолжал свой путь, шагая через трупы, весь забрызганный кровью, на каждом шагу подвергаясь опасности, что какой-нибудь убийца по ошибке уложит и его. Он заметил, что у всех солдат и горожан были белые перевязки на руке и белые кресты на шляпах. Он легко мог бы надеть эти отличительные знаки, но ужас, внушаемый ему убийцами, распространялся даже на условные отметки, по которым они узнавали друг друга.

На берегу реки, около Шатле, он услышал, что его кто-то окликает. Он повернул голову и увидел человека, до зубов вооруженного, но который,

---

[48] Примечания: 48
Там же.

по-видимому, не пускал в ход своего оружия, хотя у него и был белый крест на шляпе, и как ни в чем не бывало вертел в руке какой-то клочок бумаги. Это был Бевиль. Он равнодушно смотрел, как через мост Менье сбрасывали в Сену трупы и живых людей.

— Какого черта ты делаешь тут, Жорж? Какое-нибудь чудо или благодать вдохнули в тебя такое похвальное рвение, потому что вид у тебя такой, словно ты охотишься на гугенотов.

— А сам ты что делаешь посреди этих негодяев?

— Я? Черт возьми, я смотрю; ведь это — зрелище! А знаешь, какую я славную штуку удрал? Ты знаешь хорошо старика Мишеля Корнабона, ростовщика-гугенота, что так меня обирал?

— Несчастный, ты его убил?

— Я? Фи! Я не вмешиваюсь в дела веры. Не только я его не убил, но спрятал у себя в подвале, а он мне дал расписку в получении всего долга полностью. Так что я совершил доброе дело и получил за него награду. Положим, для того чтобы он легче дал мне эту расписку, я два раза приставлял ему к голове пистолет, но, черт меня побери, я бы ни за что не выстрелил… Смотрите-ка, женщина зацепилась юбками за балку моста… Упадет…

Нет, не упадет. Черт! Это любопытно, стоит посмотреть поближе!

Жорж оставил его и, ударив себя по лбу, подумал: «И это один из самых порядочных людей, известных мне сейчас в этом городе!»

Он свернул на улицу Сен-Жос, которая была безлюдна и не освещена; очевидно, среди живущих там не было ни одного реформата. Тем не менее на ней отчетливо был слышен шум из соседних улиц. Вдруг белые стены осветились красным огнем факелов. Он услышал пронзительные крики и увидел какую-то женщину, полуголую, с распущенными волосами и с ребенком на руках. Она мчалась со сверхъестественной быстротой. За ней бежали двое мужчин, подбадривая один другого гиканьем, как будто охотились за диким зверем. Женщина хотела броситься в ближайшие сени, как вдруг один из преследователей выстрелил по ней из аркебузы, которой был вооружен. Выстрел попал ей в спину, и она упала навзничь. Она сейчас же поднялась, сделала шаг к Жоржу и снова упала на колени; затем, в последнем усилии, она подняла своего ребенка по направлению к капитану, словно поручая дитя его великодушию. Не произнеся ни слова, она умерла.

— Еще одна еретическая сука сдохла! — вос-

кликнул человек, выстреливший из аркебузы. — Я не успокоюсь, пока не отправлю их дюжину.

— Подлец! — воскликнул капитан и в упор выстрелил в него из пистолета.

Негодяй стукнулся головой о противоположную стену. Он ужасно выкатил глаза и, скользя всем телом на пятках, словно плохо приставленная доска, скатился и вытянулся на земле мертвым.

— Как! Убивать католиков? — воскликнул товарищ убитого, у которого в одной руке был факел, в другой — окровавленная шпага. — Кто же вы такой? Господи Боже, да вы же из королевской легкой кавалерии! Черт возьми, ваше благородие, вы обознались!

Капитан вынул из-за пояса второй свой пистолет и взвел курок. Движение это и легкий щелк собачки были прекрасно поняты. Избиватель бросил свой факел и пустился бежать со всех ног. Жорж не удостоил его выстрелом. Он наклонился, ощупал женщину, лежавшую на земле, и увидел, что она уже мертва. Пуля прошла навылет. Ребенок, обвив ее шею руками, кричал и плакал; он был покрыт кровью, но каким-то чудом не был ранен. Капитан с некоторым усилием отодрал его от матери, за которую он изо всех сил уце-

пился, потом закутал в свой плащ. Эта встреча научила его осторожности: он поднял шляпу убитого, снял с нее белый крест и нацепил на свою. Таким способом он добрался без остановок до дома графини.

Братья упали друг другу в объятия и некоторое время оставались так, тесно обнявшись, не будучи в состоянии произнести ни слова. Наконец капитан вкратце сообщил, в каком положении находится город. Бернар слал проклятия королю, Гизам и священникам; он хотел выйти и присоединиться к своим братьям, если где-нибудь они попытаются противостать своим врагам. Графиня плакала и удерживала его, а ребенок кричал и просился к матери. Потеряв немало времени на крики, вздохи и слезы, они должны были наконец принять какое-либо решение. Что касается ребенка, графинин конюший вызвался найти какую-нибудь женщину, которая о нем позаботится. Мержи не имел возможности в настоящую минуту спастись бегством. К тому же куда бежать? Кто знает, не распространилось ли избиение на всю Францию, от края до края? Сильные гвардейские отряды занимали мосты, через которые реформаты могли бы добраться до Сен-Жерменского предместья, откуда им лег-

че было бы выбраться из города и достигнуть южных провинций, издавна склонявшихся на их сторону. С другой стороны, казалось бесполезным и даже неблагоразумным прибегать к милосердию монарха в минуту, когда, возбужденный бойней, он только и думал что о новых жертвах. Дом графини, благодаря тому что она была известна как женщина весьма набожная, не рисковал подвергнуться серьезному обыску со стороны убийц, и Диана считала, что на слуг своих она может положиться. Так что Мержи нигде не мог найти убежища, где он подвергался бы меньшей опасности. Решили, что он останется здесь спрятанным и будет пережидать события.

С наступлением дня избиение не только не прекратилось, но, казалось, еще усилилось и упорядочилось. Не было ни одного католика, который из страха быть заподозренным в принадлежности к ереси не надел бы белого креста, не вооружился бы или не стал бы доносить на гугенотов, еще оставшихся в живых. Меж тем к королю, запершемуся у себя во дворце, никого не допускали, кроме главарей убийц. Простой народ, привлеченный надеждой на грабеж, присоединился к гражданской гвардии и солдатам, а проповедники по церквам призывали верующих

к удвоенной жестокости.

— Раздавим за один раз, — говорили они, — все головы гидры и навсегда положим конец гражданским войнам.

И чтобы доказать этому народу, жадному до крови и чудес, что небеса одобряют его неистовство и желают поощрить его явным знамением, они кричали:

— Идите на кладбище Избиенных младенцев, взгляните на куст боярышника, что зацвел второй раз, словно поливка еретической кровью придала ему молодость и силу!

Бесчисленные вереницы вооруженных убийц с большой торжественностью отправлялись на поклонение святому терновнику и возвращались с кладбища, воодушевленные новым рвением, чтобы отыскать и предать смерти людей, столь явственно осужденных небесами. У всех на устах было изречение Катерины, его повторяли, избивая детей и женщин: Che pietà lor ser crudele, che crudeltà lor ser pietoso[49].

Странная вещь: в числе всех этих протестантов мало было людей, которые не воевали бы, не участвовали бы в горячих боях, где они, и часто

---

[49] Примечания: 49

«С ними человечно — быть жестоким, жестоко — быть человечным» (*ит.).*

с успехом, пытались уравновесить численное преимущество врагов своею доблестью; а между тем во время этой бойни только двое из них противопоставили кое-какое сопротивление своим убийцам, и из этих двоих только один бывал прежде на войне. Быть может, привычка сражаться сплоченным строем, по правилам, лишила их личной энергии, которая могла побудить любого протестанта защищаться у себя в доме, как в крепости. Случалось, что старые вояки, как обреченные жертвы, подставляли свое горло негодяям, которые накануне еще трепетали перед ними. Покорность судьбе они принимали за мужество и предпочитали ореол мученичества воинской славе.

Когда первая жажда крови была утолена, наиболее милосердные из убийц предложили своим жертвам купить себе жизнь ценой отречения. Весьма небольшое количество кальвинистов воспользовалось этим предложением и согласилось откупиться от смерти, и даже от мучений, ложью, может быть, простительной. Женщины, дети твердили свой символ веры среди мечей, занесенных над их головами, и умирали, не выронив жалобы.

Через два дня король сделал попытку остано-

вить резню; но когда разнуздаешь страсти толпы, тогда ее остановить уже невозможно. Не только кинжалы не перестали наносить удары, но сам король, обвиненный в нечестивой жалости, принужден был взять свои слова о милосердии обратно и даже превысить меру собственной злости, составлявшей, однако, одну из главных черт его характера.

В течение первых дней после Варфоломеевской ночи Бернара в его тайнике регулярно посещал брат, сообщавший ему каждый раз новые подробности ужасных сцен, свидетелем которых ему довелось быть.

— Ах! Когда-то удастся мне покинуть эту страну убийц и преступников! — восклицал Жорж. — Я охотнее жил бы среди дикарей, чем среди французов!

— Поедем со мной в Ла-Рошель, — говорил Бернар. — Надеюсь, что она еще не в руках убийц. Давай умрем вместе, заставь забыть о своем отступничестве, защищая этот последний оплот нашей веры!

— А что со мной станется? — спрашивала Диана.

— Поедемте лучше в Германию или в Англию, — отвечал Жорж. — Там по крайней мере ни нас не

будут резать, ни мы никого не будем резать.

Планы эти не имели последствий. Жоржа посадили в тюрьму за неповиновение королевскому приказу, а графиня, трепетавшая, как бы ее любовник не был открыт, только о том и думала, как бы выпроводить его из Парижа.

XXIII. Два монаха

Как надели капюшон,
Сделали монахом.

Народная песня

В кабачке на берегу Луары, немного ниже Орлеана, по направлению к Божанси, за столом сидел какой-то молодой монах, в коричневой рясе с большим капюшоном, который он наполовину опустил на глаза; сидел он, не отрывая глаз от молитвенника, с возвышающим душу прилежанием, хотя угол для чтения он выбрал темноватый. У пояса висели четки, зерна которых были крупнее голубиного яйца, а богатый набор металлических иконок, повешенных на тот же шнурок, бренчал при каждом его движении. Когда он поднимал голову, чтобы взглянуть в сторону дверей, виден был хорошо очерченный рот, украшенный усами, закрученными в виде «турецкого лука» и такими молодцеватыми, что они сделали бы честь любому армейскому капитану. Руки у него были очень белые, ногти длинные, тщательно обстриженные, и ничто не указывало, чтобы молодой брат когда-нибудь,

согласно уставу своего ордена, работал заступом или граблями.

Толстощекая крестьянка, исполнявшая должность и прислужницы, и стряпухи в этом кабачке, где она была, кроме того, еще и хозяйкой, подошла к молодому монаху и, сделав довольно-таки неловкий реверанс, сказала:

— Что же, отец мой, вы на обед ничего и не закажете? Ведь уж больше двенадцати часов, вы знаете!

— Долго еще не будет барки из Божанси?

— Кто ее знает! Вода низкая — нельзя идти как вздумается. Потом, как бы там ни было, ей еще рано приходить. На вашем месте я бы здесь пообедала.

— Хорошо, я пообедаю. Но нет ли у вас другой комнаты, где бы мне поесть? Тут что-то не очень хорошо пахнет.

— Вы очень разборчивы, отец мой. Я так решительно ничего не слышу.

— Что, свиней, что ли, палят около этой гостиницы?

— Свиней? Вот потеха-то! Свиней! Почти что так. Конечно, они свиньи, потому что, как один сказал, при жизни в шелках ходили. Но свиньи эти не для еды. Это, простите за выражение,

гугеноты, отец мой, которых на берегу, в ста шагах отсюда, сжигают, — вот чад-то от них вы и слышите.

— Гугеноты?

— Ну да, гугеноты. Разве вам дело какое-нибудь до них? Не следует из-за этого терять аппетит. Что же до комнаты, где бы вам покушать, так у меня только одна и есть, придется вам ею обойтись. Пустяки! Гугенот не так уж скверно пахнет. Впрочем, если бы их не жечь, так они еще пуще воняли бы. Сегодня утром на песке вот какая куча их накопилась, вышиной… куда там, вышиной вот с этот камин.

— И вы ходили смотреть эти трупы?

— Ах, вы спрашиваете об этом, потому что они голые? Но ведь у покойников, преподобный отец, это в счет нейдет. А по мне, так все равно, как если бы я видела кучу дохлых лягушек, хоть бы что! Как видно, вчера здорово поработали в Орлеане; страшное дело, сколько Луара к нам нанесла этой еретической рыбины: вода-то низкая, так каждый день на песке их находят. Еще вчера вечером пошел работник с мельницы посмотреть линей в сетях, а вдруг там мертвая женщина, весь живот бердышом распорот. Поверите ли, вот сюда вошло, а оттуда между плеч вышло. Ему бы

лучше, конечно, карпа поймать… Но что с вами, ваше преподобие?.. Что? Вы не собираетесь ли в обморок упасть? Хотите, пока обед не готов, я вам подам стаканчик божанси? Это сразу все на место поставит.

— Благодарю вас.

— Ну, что же вы на обед хотите?

— Что придется… все равно.

— Что? Говорите: у меня в кладовой, знаете ли, много всего.

— Ну, подайте мне цыпленка и не мешайте мне читать молитвенник.

— Цыпленка? Ваше преподобие, цыпленка? Ах, вот потеха-то! Не на ваших, знать, зубах в пост паутина заведется. Верно, у вас есть от папы разрешение по пятницам цыплят есть?

— Ах, какой я рассеянный!.. Да, конечно, сегодня ведь у нас пятница!.. *По пятницам мясного не вкушай.* Дайте мне яиц, благодарю вас, что вы меня вовремя предупредили, а то бы мог случиться большой грех.

— Вот возьмите их! — про себя проговорила кабатчица. — Не предупреди этих господ, так они вам в пост будут цыплят есть; а в супе у бедной женщины найдут кусочек сала, так такой подымут крик, что святых вон выноси!

После этих слов она занялась приготовлением яичницы, а монах снова взялся за свой молитвенник.

— Ave Maria, сестра моя! — произнес, входя в кабачок, другой монах, как раз в ту минуту, когда тетка Маргарита, держа в руках сковородку с ручкой, приготовлялась перевернуть громадную яичницу.

Вновь пришедший был красивым стариком с седой бородой, высоким, плотным и коренастым, лицо у него было цветущее. Но первое, что бросалось в глаза при взгляде на него, — это огромный пластырь, скрывавший один глаз и занимавший половину щеки. По-французски он говорил свободно, но в его выговоре слышался легкий иностранный акцент.

Как только он вошел, молодой монах еще ниже опустил свой капюшон, так, чтобы его нельзя было разглядеть; но что еще больше удивило тетушку Маргариту, так это то, что вновь прибывший монах, у которого от жары капюшон был откинут, как только увидел своего собрата по религии, поспешно сейчас же его опустил.

— Право слово, отец мой, — проговорила кабатчица, — вы кстати приходите, как раз к обеду; вам ждать не придется, и вы найдете подходящую

себе компанию. — Потом обратилась к молодому монаху: — Не правда ли, преподобный отче, вы в восторге будете отобедать вот с его преподобием? По нюху пришел он на мою яичницу! Недаром я масла не пожалела.

Молодой монах в ответ робко пробормотал:

— Я боюсь стеснить.

Старый монах, в свою очередь, произнес, низко опустив голову:

— Я бедный эльзасский монах… я плохо говорю по-французски и боюсь, что мое общество не очень приятно будет моему собрату.

— Полно, — произнесла тетушка Маргарита, — вы будете церемониться! У монахов, да еще монахов одного ордена, должен быть общий стол и общая постель. — И, взяв скамейку, она поставила ее к столу как раз напротив молодого монаха. Старый сел сбоку, по-видимому сильно смущенный собственной персоной. Казалось, в нем боролось желание пообедать и некоторое отвращение от необходимости находиться лицом к лицу со своим собратом.

Подали яичницу.

— Ну, отцы мои, читайте скорей свои молитвы, а потом скажете, хороша ли моя яичница.

При упоминании о молитве оба монаха, по-

видимому, стали чувствовать себя еще более скверно. Младший сказал старшему:

— Вам надлежит читать молитву; вы старше меня, вам эта честь и принадлежит.

— Ничуть не бывало! Вы пришли сюда раньше меня, вам и говорить.

— Нет, прошу вас!

— Я решительно не буду этого делать.

— Это необходимо!

— Полюбуйтесь на них! — произнесла тетушка Маргарита. — Они мне яичницу заморозят. Видели вы таких церемонных францисканцев? Пусть старший читает молитву перед обедом, а младший после обеда.

— Я умею читать молитву перед обедом только на своем языке, — сказал старый монах.

Молодой, казалось, удивился и бросил украдкой взгляд на своего товарища. Меж тем последний, сложив набожно руки, принялся бормотать из-под своего капюшона какие-то слова, которых никто не понял. Затем он сел на свое место и в одну минуту, не говоря дурного слова, поглотил три четверти яичницы и осушил бутылку, поставленную против него. Сотрапезник его, уткнувши нос в тарелку, открывал рот только для того, чтобы есть. Покончив с яичницей, он поднялся, сло-

жил руки и, заикаясь, скороговоркой произнес несколько латинских слов, из которых последние были: Et beata viscera Virginis Mariae[50]. Это были единственные слова, которые разобрала тетушка Маргарита.

— Вот, простите за выражение, смешная послеобеденная молитва, которую вы, отец мой, прочитали! Мне кажется, она совсем не похожа на ту, что читает наш приходский батюшка.

— В нашей обители такие установлены, — ответил молодой францисканец.

— Скоро ли придет барка? — спросил другой монах.

— Потерпите; наверное, сейчас придет, — ответила тетушка Маргарита.

По-видимому, молодому брату это было не по душе, судя по крайней мере по тому, как он двинул головой. Тем не менее он не посмел сделать ни малейшего замечания и, взяв свой молитвенник, принялся с удвоенным вниманием за чтение.

Со своей стороны, эльзасец, повернувшись спиной к своему товарищу, перебирал зерна четок всеми пятью пальцами, шевеля губами и

---

[50] Примечания: 50
«И благословенно лоно Девы Марии» (*лат.).*

не испуская при этом ни малейшего звука.

«Никогда в жизни не видала таких чудных и неразговорчивых монахов, как эти два», — подумала тетушка Маргарита, садясь за свою прялку, которую тотчас же и привела в движение.

Прошло с четверть часа в молчании, прерываемом только шумом прялки, как вдруг в кабачок вошли четверо вооруженных мужчин, весьма подозрительного вида. Увидя монахов, они слегка прикоснулись к полям своих шляп, и один из них, обращаясь к Маргарите попросту «Маргоша», первым делом спросил у нее вина и обедать поскорее, потому что, он говорил, «у меня все горло пересохло, росинки маковой во рту не было».

— Вина! Вина! — заворчала тетка Маргарита. — Скоро это сказывается, господин Буа-Дофен. А кто за вас платить будет? Знаете, господин кредит приказал долго жить; да вы и должны мне, и за вино, и за обеды с ужинами, больше шести экю. Это верно как то, что я честная женщина.

— Одинаково верно и то и другое, — ответил со смехом Буа-Дофен. — Значит, я должен вам всего два экю, тетушка Марго, и ни денье больше (он употребил более крепкое словцо).

— Ах, Господи Боже мой, ну можно ли такое говорить!

— Ну, ну, не распускай пасти, старушка! Ладно, пусть будет шесть экю. Я тебе их заплачу, милая Марго, включая то, что мы сегодня истратим; у меня водится чистоган, хотя мы почти ничего не заработали на нашем ремесле. Не знаю, что эти негодяи делают со своими деньгами!

— Возможно, что они их проглатывают, как делают немцы, — заметил один из его товарищей.

— Холера их возьми! — воскликнул Буа-Дофен. — Нужно поближе рассмотреть. Добрые пистоли в туше еретика недурная начинка — собакам не выбросишь.

— Вот кричала-то сегодня утром пасторская дочка! — произнес третий.

— А толстяк пастор! — присовокупил последний. — Я прямо со смеху покатывался. Он был такой толстый, что никак не мог в воду погрузиться.

— Значит, вы сегодня утром здорово поработали? — спросила Маргарита, возвращавшаяся из погреба с наполненными бутылками.

— Было дело! — отозвался Буа-Дофен. — Мужчин, женщин и малых ребят, всего дюжину, побросали мы в огонь или в воду. Но в том беда, Марго, что весь этот народ гол как сокол. Кроме женщины, у которой были кое-какие безделуш-

ки, вся эта пожива гроша ломаного не стоила. Да, отец мой, — продолжал он, обращаясь к монаху помоложе, — сегодня поутру мы по праву заработали отпущение грехов, убивая ваших недругов, еретических собак.

Монах посмотрел на него с минуту и снова принялся за чтение, но молитвенник, видно было, дрожал в его левой руке, а правую он сжимал в кулак, как человек, охваченный еле сдерживаемым волнением.

— Кстати об отпущениях, — сказал Буа-Дофен, оборачиваясь к своим товарищам, — знаете, я бы с удовольствием получил отпущение, чтобы сегодня поесть скоромного. У тетушки Марго в курятнике я вижу цыплят, которые чертовски меня вводят в соблазн.

— Черт возьми! — произнес один из мерзавцев. — Съедим их, не погубим же мы души из-за этого? Завтра сходим покаяться, вот и все.

— Послушайте, куманьки, — сказал другой, — что мне в голову пришло! Попросим у этих долгополых разрешение на скоромную еду…

— Да будто они могут его дать! — ответил его товарищ.

— Клянусь потрохами Богородицы! — воскликнул Буа-Дофен. — Я знаю лучшее средство, чем

все это, — сейчас скажу вам на ухо.

Четверо бездельников немедленно сдвинули головы, и Буа-Дофен потихоньку объяснил им, в чем состоит его план, встреченный громким хохотом. У одного из разбойников явилось кое-какое сомнение.

— Скверная мысль пришла тебе в голову, Буа-Дофен; это может принести несчастье — я в этом не участвую.

— Помалкивай, Гийемен. Небольшой грех дать кому-нибудь понюхать, чем пахнет лезвие кинжала.

— Но… но духовному лицу…

Они говорили шепотом, и монахи, казалось, старались угадать их намерение по отдельным доносившимся к ним словам.

— Вздор! Никакой разницы нет, — возразил Буа-Дофен несколько громче. — К тому же так дело поставлено, что он совершит грех, а не я.

— Да, да, Буа-Дофен прав! — воскликнули двое остальных.

Буа-Дофен сейчас же встал и вышел из зала. Через минуту раздалось куриное кудахтанье, и разбойник тотчас же снова явился, держа в каждой руке по зарезанной курице.

— Ах, проклятый! — закричала тетка Маргари-

та. — Резать моих кур, да еще в пятницу! Что ты с ними собираешься делать, разбойник?

— Тише, тетка Маргарита, не дерите мне слуха, вы знаете, я малый сердитый. Приготовьте ваши вертела и предоставьте остальное мне. — Потом он подошел к эльзасскому брату и сказал: — Вот, отец, видите этих двух птиц? Ну, так я хотел бы, чтобы вы милостиво согласились окрестить их.

Монах от изумления попятился; другой закрыл свою книгу, а тетка Маргарита принялась срамить Буа-Дофена.

— Чтобы я их окрестил? — спросил монах.

— Да, отче. Я буду крестным, а присутствующая здесь Марго — крестной. И вот как я хочу назвать своих крестников: одного *Карпом,* а вот этого *Окунем.* Имена хоть куда!

— Крестить кур?! — воскликнул монах со смехом.

— Ну да, черт побери, отче! Ну, скорей за дело!

— Ах, мерзавец! — воскликнула Маргарита. — Ты думаешь, я позволю проделывать такие штуки у себя в доме? Что ты, у жидов или на шабаше, чтобы зверей крестить?..

— Уберите-ка от меня эту крикунью, — сказал Буа-Дофен своим товарищам, — а вы, отче, грамотный, так, может, прочтете, какой оружейник

сделал этот клинок.

С этими словами он поднес обнаженный кинжал к носу старого монаха. Молодой вскочил со своей скамейки, но почти сейчас же, как будто следуя благоразумному размышлению, снова сел, решив запастись терпением.

— Как же, дитя мое, желаете вы, чтобы я крестил эту живность?

— Черт возьми, очень просто: как крестите вы нас всех, бабьих детей. Покропите водой на голову, скажите: Baptizo te Carpam et Percham[51], — только скажите это на вашей тарабарщине. Ну, Пти-Жан, принеси нам воды в этот стакан, а вы все снимите шляпы, и чинно держать себя, Господи благослови!

К общему удивлению, старый францисканец взял немного воды, полил ею куриные головы и очень быстро и неразборчиво пробормотал что-то вроде молитвы. Окончил он словами: Baptizo te Carpam et Percham. Потом сел на свое место и снова преспокойно занялся своими четками, как будто сделал самую обыкновенную вещь.

Тетка Маргарита онемела от изумления. Буа-Дофен торжествовал.

---

[51] Примечания: 51
Нарекаю тебя Карпом, а тебя — Окунем (*лат.*).

— Ну, Марго, — сказал он, бросая ей обеих кур, — приготовь-ка нам этого карпа и этого окуня, славное постное блюдо!

Но Маргарита, несмотря на крестины, не соглашалась еще смотреть на них как на христианскую пищу. Разбойникам пришлось пригрозить ей, что они разделаются с ней по-свойски, и только тогда она решилась посадить на вертел этих импровизированных рыб.

Между тем Буа-Дофен и его спутники пили вовсю, провозглашали тосты и подымали страшный шум.

— Послушайте! — закричал Буа-Дофен, изо всей силы ударив кулаком по столу, чтобы добиться тишины. — Я предлагаю выпить за здоровье нашего святейшего папы и за гибель всех гугенотов. Нужно, чтобы и наши долгополые, и тетка Марго выпили с нами вместе!

Предложение было встречено одобрительными возгласами трех его товарищей.

Он поднялся пошатываясь, будучи уже больше чем наполовину пьян, и из бутылки, что была у него в руках, налил стакан молодому монаху.

— Ну, отче, — сказал он, — за святость его здоровейшества… Ошибся! За здоровье его святейшества и за гибель…

— Я никогда не пью между трапезами, — холодно ответил молодой человек.

— О, черта с два, вы выпьете, или, черт меня бери, вы мне объясните, почему вы не хотите пить.

С этими словами он поставил бутылку на стол и, взяв стакан, поднес его к губам молодого монаха, который склонялся к своему молитвеннику, по-видимому, с большим спокойствием. Несколько капель вина упало на книгу. Монах сейчас же поднялся, схватил стакан, но, вместо того чтобы выпить его, выплеснул содержимое в лицо Буа-Дофену. Все засмеялись. Монах, прислонившись к стене и скрестив руки, пристально смотрел на мерзавца.

— Знаете ли, монашек, ваша шутка мне совсем не нравится! Черт возьми, если бы не ваш сан, я бы вас научил обращению с людьми!

С этими словами он протянул руку к лицу молодого человека и кончиками пальцев коснулся его усов.

Лицо монаха побагровело. Одной рукой он схватил за шиворот наглого разбойника, другой взял бутылку и с такой яростью разбил ее об голову Буа-Дофена, что тот без сознания упал на пол, залитый кровью и вином.

— Превосходно, парень! — воскликнул старый

монах. — Для скуфейника вы проворны на руку!

— Буа-Дофен убит! — закричали трое разбойников, видя, что их товарищ лежит без движения. — А, негодяй! Сейчас мы зададим вам знатную трепку!

Они схватились за свои шпаги; но молодой монах с удивительным проворством засучил длинные рукава, завладел шпагой Буа-Дофена и встал в оборонительную позицию с самым решительным видом. В то же время его собрат вытащил из-под своей рясы кинжал, клинок у которого был дюймов восемнадцати длиной, и встал рядом с ним с не менее воинственным видом.

— А, канальи! — закричал он. — Мы вас научим обращению, поставим вас на место!

В одно мгновение трое негодяев, кто раненый, кто обезоруженный, принуждены были выскочить в окно.

— Господи Иисусе! — воскликнула тетка Маргарита. — Какие вы вояки, отцы мои! Вы делаете честь религии. Но при всем при этом вот мертвое тело, а это неприятно для репутации гостиницы.

— О, ничуть не бывало. Он жив! — сказал старый монах. — Я вижу, что он шевелится, но я сейчас его пособорую. — И он приблизился к

раненому, взял его за волосы и, приставив ему к горлу свой острый кинжал, собирался было отрезать голову, если бы его не удержала тетка Маргарита и его товарищ.

— Что вы делаете, Боже мой! — говорила Маргарита. — Убить человека. Да еще человека, который продолжает считаться добрым католиком, хотя, как я погляжу, на самом деле ничего подобного!

— Я предполагаю, — сказал молодой монах своему собрату, — что *спешные* дела вас призывают, как и меня, в Божанси. Барка пришла. Спешим!

— Вы правы, я иду с вами. — Он вытер свой кинжал и снова спрятал его под рясу. Затем оба храбрых монаха заплатили свою долю и вместе отправились по направлению к Луаре, оставив Буа-Дофена на попечении Маргариты, которая начала с того, что, обшарив его карманы, вернула свой долг, затем она занялась тем, что вынула куски стекла, торчавшие у него на лице, чтобы потом сделать ему перевязку по всем правилам, принятым у кумушек в подобных случаях.

— Если не ошибаюсь, я вас где-то видел? — обратился молодой человек к старому францисканцу.

— Черт меня побери, ваше лицо мне знакомо, но…

— Когда мы встретились с вами в первый раз, на вас было другое платье.

— А на вас самих?

— Вы — капитан…

— Дитрих Горнштейн, к вашим услугам. А вы — тот молодой дворянин, с которым я обедал недалеко от Этампа.

— Он самый.

— Ваша фамилия — Мержи?

— Да, но теперь я называюсь иначе. Я брат Амброзий.

— А я брат Антоний из Эльзаса.

— Отлично. А куда вы направляетесь?

— Если смогу, в Ла-Рошель.

— И я тоже.

— Очень рад с вами встретиться… Но, черт! Вы меня поставили в ужасно затруднительное положение вашей предобеденной молитвой. Ведь я ни слова из нее не знаю. А вас я принял сначала всерьез за монаха.

— И я вас так же точно.

— Откуда вы убежали?

— Из Парижа. А вы?

— Из Орлеана. Мне пришлось прятаться целую неделю. Бедняги мои рейтары… мой корнет… все в Луаре.

— А Мила?

— Она сделалась католичкой.

— А как моя лошадь, капитан?

— А! Ваша лошадь! Я негодяя трубача, который ее у вас украл, наказал розгами… Но, не зная, где вы находитесь, я не мог вам ее вернуть обратно. Я ее сохранял, поджидая, что буду иметь честь с вами встретиться. Теперь, несомненно, она принадлежит какому-нибудь негодяю паписту.

— Тс, не говорите этого слова так громко. Ну, капитан, соединим нашу судьбу и будем помогать друг другу, как мы только что сделали.

— Согласен! И пока у Дитриха Горнштейна останется хоть капля крови в жилах, он будет готов всегда драться рядом с вами.

Они радостно пожали друг другу руки.

— Но послушайте, что за чертовщину они несли с этими своими курами и с Carpam, Per-cham?[52] Нужно сознаться, глупый народ эти паписты!

— Тсс… еще раз. Вот и барка!

В таких разговорах они дошли до лодки, в которую и сели. До Божанси они доехали без особых приключений, если не считать того, что навстречу им по Луаре плыло много трупов их

---

[52] Примечания: 52
Карпом, Окунем? (*лат.*)

единоверцев.

Лодочник заметил, что большинство из них плывет лицом вверх.

— Они взывают к небу об отмщении, — произнес тихонько Мержи, обращаясь к капитану рейтаров.

Дитрих молча пожал ему руку.

XXIV. Осада Ла-Рошели

Still hope and suffer all who can?
Moore. Fudge Family

Кто все снесет, надежды не теряя?
Мур. Семейство Фэдж

Ла-Рошель, почти все жители которой исповедовали реформатскую религию, в то время была как бы столицей южных провинций и наиболее крепким оплотом протестантской партии. Обширные торговые сношения с Англией и Испанией открыли доступ значительным богатствам и сообщили городу тот дух независимости, который они порождают и поддерживают. Горожане, рыбаки или матросы, часто корсары, с ранней юности знакомые с опасностями жизни, полной приключений, обладали энергией, заменявшей им дисциплину и военный навык. Так что при известии о резне 22 августа ларошельцы не поддались тупой покорности, охватившей большинство протестантов и лишавшей их последней надежды, но были одушевлены активной и грозной храбростью, которая приходит иногда в минуты отчаяния. С общего согласия

они решили лучше претерпеть последние крайности, чем открыть ворота врагу, только что давшему такой разительный образчик своего коварства и жестокости. Меж тем как пасторы фанатическими речами поддерживали этот пыл, женщины, дети, старики наперебой работали над восстановлением старых укреплений и возведением новых. Делали запасы провианта и оружия, снастили барки и корабли — одним словом, не теряя ни минуты, организовывали и подготовляли все средства защиты, на какие город был способен. Многие дворяне, избегшие избиения, присоединились к ларошельцам, и их описание варфоломеевских злодейств придавало отвагу самым робким. Для людей, спасшихся от верной смерти, случайности войны — не более как легкий ветерок для матросов, только что выдержавших бурю. Мержи и его товарищ принадлежали к числу этих беглецов, увеличивших ряды защитников Ла-Рошели.

Парижский двор, напуганный этими приготовлениями, жалел, что не предупредил их. Маршал де Бирон приближался к Ла-Рошели с предложениями мирных переговоров. У короля были некоторые основания надеяться, что выбор Бирона будет приятен ларошельцам; маршал

не только не принимал участия в Варфоломеевской бойне, но спас жизнь многим выдающимся протестантам и даже направил пушки арсенала, которым он командовал, против убийц, носивших знаки королевской службы. Он просил только, чтобы его впустили в город и признали королевским губернатором, обещая уважать привилегии и вольности жителей и предоставить им свободу вероисповедания. Но после избиения шестидесяти тысяч протестантов можно ли было верить обещаниям Карла IX? К тому же во время самых переговоров в Бордо продолжалось избиение, солдаты Бирона грабили окрестности Ла-Рошели и королевский флот задерживал торговые суда и блокировал порт.

Ларошельцы отказались принять Бирона и ответили, что они не могут заключать договоров с королем, покуда он в плену у Гизов, не то считая этих последних единственными виновниками всех бед, претерпеваемых кальвинизмом, не то стараясь этой выдумкой, часто повторявшейся с их легкой руки, успокоить совесть тех, которые находили, что верность королю должна быть поставлена выше интересов религии. Тогда не оказалось больше никакого средства договориться. Король выбрал другого посредника

и послал Ла-Ну. Ла-Ну, прозванный Железная Рука из-за искусственной руки, которой он заменил потерянную в сражении, был ревностным кальвинистом, доказавшим в последнюю гражданскую войну большую храбрость и военный талант.

У адмирала, с которым он был дружен, не было более ловкого и преданного помощника. Во время Варфоломеевской ночи он находился в Нидерландах, руководя недисциплинированными шайками фламандцев, восставших против испанского владычества. Счастье ему изменило, и он принужден был сдаться герцогу Альбе, обошедшемуся с ним довольно хорошо. Позже, когда потоки пролитой крови пробудили некоторое угрызение совести в Карле IX, он снова призвал Ла-Ну и, вопреки всяким ожиданиям, принял его с величайшей любезностью. Этот монарх, не знавший ни в чем меры, осыпал милостями протестанта, а сам только что перерезал их сто тысяч… Какой-то рок, казалось, хранил Ла-Ну; уже во время третьей гражданской войны он попался в плен сначала при Жарнаке, потом при Монконтуре и всякий раз бывал без выкупа отпускаем

братом короля[53], несмотря на доводы одной части военачальников, которые настаивали, чтобы он пожертвовал человеком слишком опасным для того, чтобы его выпускать из рук, и слишком честным, чтобы его можно было подкупить. Карл подумал, что Ла-Ну вспомнит о его милосердии, и поручил ему уговорить ларошельцев подчиниться. Ла-Ну согласился, но поставил условием, что король не будет требовать от него ничего такого, что было бы несовместимо с его честью. Уехал он в сопровождении итальянского священника, который должен был присматривать за ним.

Сначала ему пришлось испытать чувство унижения, видя, что ему не доверяют. Он не сумел добиться пропуска в Ла-Рошель, и для свидания ему назначили маленький городок в окрестности. В Тадоне он встретился с выборными из Ла-Рошели. Он всех их знал, как знают старых товарищей по оружию; но при виде его никто не протянул ему дружеской руки, никто, по-видимому, не узнал его. Он назвал свое имя и изложил королевские предложения. Сущность его речи сводилась к следующему: «Доверьтесь обещаниям короля: нет большего зла, как междоусобная

---

[53] Примечания: 53
Герцог Анжуйский, впоследствии Генрих III.

война».

Городской голова Ла-Рошели ответил с горькой усмешкой:

— Мы видим человека, похожего на Ла-Ну; но Ла-Ну никогда бы не предложил своим братьям покориться убийцам. Ла-Ну любил покойного адмирала и скорей захотел бы отомстить за него, чем заключать договоры с его убийцами. Нет, вы совсем не Ла-Ну.

Несчастный посланец, которого упреки эти пронзали до глубины души, напомнил о своих заслугах перед делом кальвинизма, показал свою искалеченную руку и протестовал против обвинения в недостаточной преданности вере. Мало-помалу недоверие ларошельцев рассеялось; их ворота открылись для Ла-Ну; они показали ему свои боевые припасы и даже уговорили стать во главе их. Предложение было соблазнительно для старого вояки. Клятва Карлу дана была в таких условиях, что истолковать ее можно было сообразно со своей совестью. Ла-Ну надеялся, что, становясь во главе ларошельцев, он легче сможет привести их в миролюбивое настроение; он думал, что ему удастся одновременно соблюсти верность присяге и преданность вере. Он ошибался.

Королевская армия осадила Ла-Рошель. Ла-Ну руководил всеми вылазками, убивал множество католиков; затем, вернувшись в город, уговаривал жителей заключить мир. Чего же он достиг? Католики кричали, что он изменил слову, которое дал королю; протестанты обвиняли его в том, что он их предает.

При таком положении дел Ла-Ну, полный отвращения к жизни, искал смерти, двадцать раз в день подвергаясь опасности.

XXV. Ла-Ну

Фенест. Этот человек не ногой сморкается.

Д'Обинье. Барон Фенест

Осажденные только что произвели удачную вылазку против ближайших осадных сооружений католической армии. Они засыпали многие траншеи, опрокинули туры и убили с сотню солдат. Отряд, имевший такую удачу, возвращался в город через Тадонские ворота. Впереди шел капитан Дитрих с отрядом стрелков, которые, судя по тому, какие воспаленные у всех были лица, как все запыхались и просили пить, не щадили себя. За ними следовала большая толпа горожан, между которыми видно было несколько женщин, принимавших участие в сражении. За ними следовало десятка четыре пленных, большинство покрытых ранами и помещенных меж двумя шеренгами солдат, с большим трудом охранявших их от ярости народа, собравшегося на их пути. Человек двадцать кавалеристов составляли арьергард. Ла-Ну, у которого Мержи служил адъютантом, шел последним. Его кираса

была помята пулей, и лошадь ранена в двух местах. В левой руке он держал еще разряженный пистолет, а посредством крюка, который вместо руки торчал у него из правого наручника, он управлял поводом.

— Дайте пройти пленным, друзья мои! — восклицал он поминутно. — Будьте человечны, добрые ларошельцы! Они ранены и беззащитны, они больше не враги нам.

Но чернь отвечала ему диким воем: «Петлю папистам!», «На виселицу!» и «Да здравствует Ла-Ну!».

Мержи и кавалеристы еще усилили действие великодушных увещаний их начальника, кстати нанося удары древками копий. Наконец пленные были отведены в городскую тюрьму и помещены под крепкую стражу, так что им нечего было бояться народной ярости. Отряд рассеялся, и Ла-Ну в сопровождении только нескольких дворян спешился перед городской ратушей в ту минуту, когда из нее выходил голова, а за ним кучка граждан и пожилой пастор по фамилии Лаплас.

— Ну, доблестный Ла-Ну, — произнес голова, протягивая руку, — вы только что доказали этим убийцам, что не все храбрецы умерли вместе с господином адмиралом.

— Дело обошлось довольно благополучно, сударь, — ответил Ла-Ну со скромностью. — У нас только пятеро убитых и мало раненых.

— Раз вы руководите вылазкой, господин Ла-Ну, — продолжал голова, — мы заранее можем быть уверены в успехе.

— А что бы значил Ла-Ну без помощи Божьей? — с горечью воскликнул старый пастор. — Бог сил сегодня сражался за нас; он услышал наши молитвы.

— Бог дает и отнимает победы по своему усмотрению, — сказал спокойным голосом Ла-Ну, — только Его следует благодарить за успех на войне. — Потом он обернулся к городскому голове: — Ну как, сударь? Обсудил ли совет новые предложения его величества?

— Да, — ответил голова, — только что отправили обратно трубача к брату короля, прося его больше не беспокоиться и не присылать нам требований. С этих пор мы отвечать будем только выстрелами из акербуз.

— Вы должны были бы отдать приказ повесить трубача, — заметил пастор, — ибо не писано ли есть: «И из среды твоей вышли некие злые, восхотевшие возмутить обитателей их города… но ты не преминул предать их смерти, твоя рука пер-

вою легла на них, а за нею рука всего народа»?

Ла-Ну вздохнул и, ничего не говоря, возвел очи к небу.

— Как! Сдаться нам? — продолжал городской голова. — Сдаться, когда стены наши еще стоят, когда враг не смеет еще подойти к ним близко, меж тем как мы ежедневно смеемся над ним в его же окопах? Поверьте мне, господин Ла-Ну, если бы в Ла-Рошели совсем не было солдат, одних женщин хватило бы, чтобы отразить парижских живодеров.

— Сударь, сильнейшему подобает говорить осмотрительно о своем враге; слабейшему же…

— Э, кто сказал вам, что мы слабейшие? — прервал его Лаплас. — Разве Бог не сражается за нас? И Гедеон с тремястами израильтян, не был ли он сильнее полчищ мадианитских?

— Вам лучше известно, чем кому бы то ни было, господин голова, как недостаточен у нас провиант. Пороху очень мало — я принужден запрещать стрелкам далекий прицел.

— Монтгомери нам пришлет его из Англии! — ответил голова.

— Огонь с неба низойдет на головы папистов! — сказал пастор.

— Хлеб с каждым днем дорожает, господин

голова.

— Со дня на день мы можем увидеть английский флот, и в городе восстановится изобилие.

— Бог пошлет манну с небес в случае нужды! — пылко воскликнул Лаплас.

— Что касается помощи, о которой вы говорите, — продолжал Ла-Ну, — достаточно, чтобы несколько дней стоял южный ветер, и корабли не смогут войти в нашу гавань. К тому же флот этот может быть взят в плен.

— Ветер будет с севера. Я тебе это предвещаю, маловерный! — произнес пастор. — Ты потерял правую руку и мужество вместе с ней.

Ла-Ну, по-видимому, решил не отвечать на его замечания. Он продолжал, обращаясь все время к городскому голове:

— Для нас потерять одного человека важнее, чем для врагов потерять десяток. Я боюсь, что, если католики усилят осаду, нам придется принять условия тяжелее тех, которые вы теперь с таким презрением отвергаете. Если, как я надеюсь, король захочет удовлетвориться признанием своей власти в этом городе, не требуя жертв, которых мы принести не можем, я полагаю, что наша обязанность — открыть ему ворота; потому что, в конце концов, он — наш владыка.

— Один владыка у нас — Христос, и только нечестивец может называть владыкой этого жестокого Ахава, Карла, пьющего кровь пророков!..

И ярость пастора удваивалась при виде невозмутимого хладнокровия Ла-Ну.

— Что касается меня, — сказал голова, — я отлично помню, как при последнем своем проезде господин адмирал сказал нам: «Король дал мне слово, что со всеми его подданными, протестантами и католиками, будут обращаться одинаково». Через полгода король, давший ему слово, приказывает его убить. Если мы откроем ворота, у нас произойдет Варфоломеевская ночь, как и в Париже.

— Король был обманут Гизами. Он очень раскаивается в этом и хотел бы искупить пролитую кровь. Если вашим упрямым нежеланием заключить договор вы раздражите католиков, все силы королевства будут направлены против вас, и тогда будет разрушено единственное пристанище для реформатской религии… Мир, мир! Поверьте мне, господин голова.

— Трус! — закричал пастор. — Ты жаждешь мира потому, что боишься за свою жизнь…

— О господин Лаплас… — произнес голова.

— Короче сказать, — холодно продолжал Ла-

Ну, — последнее мое слово таково: если король согласится не ставить гарнизона в Ла-Рошели и сохранит за нами свободу вероисповедания, нужно будет передать ему наши ключи и засвидетельствовать нашу покорность.

— Ты предатель, — закричал Лаплас, — и ты подкуплен тиранами!

— Господи Боже, что вы говорите, господин Лаплас! — повторил городской голова.

Ла-Ну слегка улыбнулся с видом презрения.

— Видите, господин голова, в какое странное время мы живем. Военные люди говорят о мире, а духовенство проповедует войну... Дорогой пастор, — продолжал он, обращаясь наконец к Лапласу, — пора обедать, по-моему, и, вероятно, ваша жена ждет вас домой.

Последние слова окончательно привели в бешенство пастора. Он не смог найти никаких оскорбительных слов, и так как пощечина освобождает от рассудительного ответа, то он и ударил по щеке старого полководца.

— Господи Боже мой, что вы делаете! — закричал голова. — Ударить господина Ла-Ну, лучшего гражданина и храбрейшего воина Ла-Рошели?!

Мержи, присутствовавший при этом, собирался проучить Лапласа так, чтобы тот долго помнил;

но Ла-Ну его удержал.

Когда к седой бороде прикоснулась рука старого безумца, было мгновение, быстрое, как мысль, когда глаза его блеснули негодованием и гневом. Но сейчас же его лицо приняло прежнее бесстрастное выражение; можно было подумать, что пастор ударил мраморный бюст римского сенатора или лица Ла-Ну коснулся какой-нибудь неодушевленный, случайно приведенный в движение предмет.

— Уведите этого старика к его жене, — сказал он одному из горожан, которые уволакивали старого пастора. — Скажите ей, чтобы она за ним ходила, — положительно ему сегодня нездоровится... Господин голова, прошу вас собрать мне полторы сотни добровольцев из жителей города, потому что я хотел бы произвести вылазку завтра на рассвете, когда солдаты, проведя ночь в окопах, еще окоченели от холода, как медведи, на которых нападают во время оттепели. Я замечал, что люди, спавшие под кровлей, поутру больше сто́ят, чем те, которые провели ночь под открытым небом... Господин де Мержи, если вы не слишком торопитесь обедать, не хотите ли пройтись со мной к Евангельскому бастиону? Я хотел бы посмотреть, насколько подвинулись

работы у врагов.

Он поклонился городскому голове и, положив руку на плечо молодого человека, направился к бастиону.

Они вошли минуту спустя после того, как пушечным выстрелом только что были смертельно ранены двое людей. Камни были все окрашены кровью, и один из этих несчастных кричал своим товарищам, чтобы они его прикончили. Ла-Ну, опершись локтем на парапет, некоторое время молча смотрел на работу осаждающих; затем, обернувшись к Мержи, он произнес:

— Ужасная вещь — война, но гражданская война… Этим ядом была заряжена французская пушка; француз навел прицел и зажег запал, и ядром этим убито двое французов. И это еще ничего — убить на расстоянии полумили; но, господин де Мержи, когда приходится вонзать свою шпагу в тело человека, который умоляет вас о пощаде на вашем родном языке! А между тем не далее как сегодня утром мы это делали.

— Ах, сударь, если бы вы видели бойню двадцать четвертого августа, если бы вы переправлялись через Сену, когда она была красной и несла больше трупов, чем льдин во время ледохода, вы бы не испытывали жалости к людям, с кото-

рыми мы сражаемся. Для меня всякий папист — убийца…

— Не клевещите на вашу страну! В армии, которая нас осаждает, очень мало подобных чудовищ. Солдаты — французские крестьяне, бросившие плуг ради королевского жалованья. А дворяне и офицеры сражаются, потому что они поклялись в верности королю. И может быть, они правы, а мы… мы — бунтовщики.

— Бунтовщики?! Наше дело правое, мы сражаемся за свою веру и за свою жизнь.

— Насколько я вижу, у вас немного сомнений. Вы счастливы, господин де Мержи. — И старый воин глубоко вздохнул.

— Черт побери! — сказал солдат, только что разрядивший аркебузу. — Заколдован, что ли, этот черт? Третий день в него целюсь — никак попасть не могу.

— Кто такой? — спросил Мержи.

— Да вон видите там молодец в белом камзоле с красной перевязью и пером. Каждый день он тут у нас под носом разгуливает, будто дразнит. Один из придворных золотошпажников, которые пришли вместе с братом короля.

— Расстояние большое, — сказал Мержи, — все равно дайте-ка мне аркебузу.

Какой-то солдат дал ему в руки свое оружие. Мержи приложил конец дула на парапет и с большим вниманием прицелился.

— А если это кто-нибудь из ваших друзей? — спросил Ла-Ну. — Почему вам вздумалось выполнять обязанности аркебузира?

Мержи собирался спустить курок; он задержал палец.

— У меня нет никаких друзей среди католиков, кроме одного. А тот, я уверен, не участвует в этой осаде.

— А если это ваш брат, который, сопровождая принца…

Выстрел раздался; но рука у Мержи дрожала, и видно было, что от пули поднялась пыль на довольно далеком расстоянии от пешехода. Мержи не думал, что его брат может находиться в католической армии, но тем не менее был рад, что промахнулся. Человек, в которого он только что стрелял, продолжал медленно ходить, а затем исчез за одной из куч только что выкопанной земли, которые возвышались со всех сторон вокруг города.

XXVI. Вылазка

Hamlet. Dead, for a ducat! dead!

Shakespeare. Hamlet, III, 4

Гамлет. Мертва, ставлю дукат, мертва.

Шекспир. Гамлет, III, 4

Мелкий и холодный дождик, шедший беспрерывно всю ночь, наконец перестал, когда белесоватый свет с восточной части неба возвестил о рассвете. Он с трудом пробивался сквозь стлавшийся по земле густой туман, который ветер перемещал с места на место, делая в нем как бы широкие отверстия. Но сероватые хлопья сейчас же снова соединялись, как волны, разрезанные кораблем, снова падают и заполняют только что проведенную борозду. Окрестность, окутанная этим густым паром, из которого высовывались верхушки нескольких деревьев, походила на обширное наводнение.

В городе неверный свет утра, смешанный с пламенем факелов, освещал довольно многочисленную толпу солдат и добровольцев, собравшихся на улице, ведущей к Евангельскому

бастиону. Они постукивали ногами по мостовой и шевелились, не двигаясь с места, как люди, продрогшие от сырого и пронзительного холода, что бывает зимой при восходе солнца. Не было недостатка в ругательствах и крепких пожеланиях по адресу того, кто заставил их взяться за оружие в такую рань; но, несмотря на ругань, в их словах слышалось и хорошее расположение духа, и надежда, одушевляющая солдат, когда ими командует почитаемый начальник; они говорили полушутя-полусердито:

— Этот проклятый *Железная Рука*, этот *Жан бессонный* позавтракать не может, если утром не разбудит этих иродов! Чтоб лихорадка его заела! Черт, а не человек! С ним никогда нельзя быть уверенным, что выспишься! Клянусь бородой покойного адмирала: если не скоро начнутся выстрелы, я сейчас засну, будто у себя в постели! А! Ура! Вот и водка, она нам поставит сердце на место, и мы не схватим простуды в этом чертовом тумане.

Покуда солдатам раздавали водку, офицеры, окружив Ла-Ну под навесом лавки, с интересом слушали план нападения, которое он предполагал предпринять против осаждающей армии. Раздалась барабанная дробь, каждый занял свое

место, пастор приблизился и, благословив солдат, увещевал их доблестно исполнить свой долг, обещая, в случае если их постигнет неудача, вечную жизнь, в противном же случае по возвращении в город — награды и благодарность сограждан.

Проповедь была коротка, но Ла-Ну нашел ее слишком длинной. Это был совсем не тот человек, что накануне жалел о каждой капле французской крови, пролитой на этой войне. Теперь это был только солдат, торопившийся, по-видимому, поскорей увидеть снова зрелище бойни. Как только пасторская речь была окончена и солдаты ответили *аминь,* он воскликнул твердым и жестким голосом:

— Товарищи, пастор только что совершенно правильно вам сказал! Предадим себя в руки Господа и Пресвятой Девы Крепко-Разящей! Первого из вас, кто выстрелит раньше, чем пыж его упрется прямо в живот паписту, я убью, если сам вернусь живым.

— Сударь, — вполголоса сказал ему Мержи, — вот слова, отнюдь не похожие на те, что вы вчера говорили.

— Вы по-латыни знаете? — спросил резко Ла-Ну.

— Так точно.

— Ну так вспомните прекрасное изречение: Age quod agis![54]

Он дал сигнал; произвели пушечный выстрел, и вся толпа большими шагами направилась за город; в то же время маленькие отряды солдат, выйдя из различных ворот, производили тревогу по многим пунктам неприятельской линии, с тем чтобы католики, думая, что на них нападают со всех сторон, не решились послать подкрепления против главной атаки, из страха лишить силы какое-нибудь место их ретраншемента, повсюду угрожаемого.

Евангельский бастион, против которого были направлены усилия инженерных войск католической армии, особенно страдал от батареи из пяти пушек, поставленных на небольшом пригорке, на вершине которого находилось разрушенное здание, до осады бывшее мельницей. Приступы со стороны города были защищены рвом и земляным валом, впереди же рва были расставлены аркебузиры на сторожевых постах. Но как и предполагал протестантский полководец, их аркебузы, в течение многих часов подвергавшиеся сырости, должны были оказаться почти

---

[54] Примечания: 54
«Что делаешь — делай!» (*лат.)*

бесполезными, и нападающие, хорошо экипированные, приготовленные к атаке, имели большое преимущество над людьми, застигнутыми врасплох, утомленными бессонницей, вымокшими от дождя и окоченевшими от холода.

Передовые часовые были зарезаны. Несколько выстрелов, произведенных каким-то чудом, разбудили батарейную команду лишь для того, чтобы увидеть, как неприятель уже завладел валом и карабкается по мельничному пригорку. Некоторые из них пытаются сопротивляться, но оружие выпадает из их окоченелых рук, почти все их аркебузы дают осечку, меж тем как у нападающих ни один выстрел не пропадает. Победа уже несомненна, и протестанты, хозяева батареи, уже испускают жестокий крик:

— Нет пощады! Вспомните двадцать четвертое августа!

С полсотни солдат вместе со своим начальником размещены были в мельничной башне; начальник, в ночном колпаке и кальсонах, в одной руке держа подушку, в другой — шпагу, отворяет дверь и выходит, спрашивая, откуда такой шум. Далекий от мысли о неприятельской вылазке, он воображал, что шум происходит от ссоры между его же собственными солдатами. Он

жестоко разубедился в этом: от удара бердышом он упал на землю, обливаясь кровью. Солдаты успели забаррикадировать двери в башню и некоторое время успешно отстреливались через окна; но совсем около здания находилась большая куча сена, соломы и веток, приготовленных для плетеных тур. Протестанты подожгли все это, и огонь в одну минуту охватил башню, вздымаясь до самой верхушки. Вскоре изнутри стали доноситься жалобные крики. Крыша была объята пламенем и грозила сейчас обрушиться на головы несчастных, которых прикрывала. Дверь горела, и баррикады, которые они понаделали, мешали им воспользоваться этим выходом. Пытались ли они выскочить через окна, они падали в огонь или на острия копий. Тогда взорам представилось ужасное зрелище. Какой-то прапорщик, в полном вооружении, попытался, как и другие, выскочить через узкое окно. Его кираса внизу оканчивалась, согласно довольно распространенной в те времена моде, чем-то вроде железной юбки[55],

[55] Примечания: 55

Подобное вооружение можно видеть в Артиллерийском музее. Прекрасный набросок Рубенса, изображающий турнир, объясняет нам, как при такой железной юбке можно было тем не менее садиться на лошадь. Седла снабжены были маленьким табуретом, который входит под юбку, и всадник сидит так высоко, что колени у него находятся почти на уровне лошадиной головы. Относительно человека, заживо сгоревшего в своих латах, смотри «Всемирную историю» д'Обинье.

покрывавшей бедра и живот и расширявшейся в виде воронки, чтобы можно было свободно ходить. Окно было недостаточно широко, чтобы пропустить эту часть вооружения, и прапорщик впопыхах с таким напором бросился в него, что бóльшая часть его тела очутилась за окном, не будучи в состоянии двинуться, словно захваченная тисками. Между тем огонь поднимался к нему, раскалял его вооружение и медленно его там поджаривал, как в печке или в пресловутом медном быке, придуманном Фаларисом. Несчастный испускал ужасные крики и тщетно махал руками, словно призывая на помощь. Среди нападающих наступила минута молчания, потом все разом, будто сговорившись, они грянули военный клич, чтобы оглушить себя и не слышать воплей сгоравшего человека. Он исчез в вихре огня и дыма, и видно было, как посреди обломков башни упала дымящаяся, раскаленная каска.

В пылу боя впечатления ужаса и печали продолжаются недолго: инстинкт самосохранения слишком настойчиво дает себя знать солдату, чтобы он на долгое время оставался чувствительным к несчастьям других. Покуда одна часть ларошельцев преследовала беглецов, другие принялись гвоздить пушки, разбивать им ко-

леса и бросать в ров батарейные туры и трупы прислуги.

Мержи, один из первых перелезший через ров и взобравшийся на окопы, перевел дыхание, чтобы нацарапать острием кинжала на одной из пушек имя Дианы; потом стал помогать другим разрушать работы осаждающих.

Какой-то солдат взял за голову католического офицера, не подававшего признаков жизни, другой солдат держал его за ноги, и оба, мерно раскачивая его, собирались бросить его в ров. Вдруг мнимый покойник открыл глаза и, узнав Мержи, воскликнул:

— Господин де Мержи, смилуйтесь! Я сдаюсь вам в плен — спасите меня! Неужели вы не узнаете вашего друга Бевиля?

Лицо у несчастного было все в крови, и Мержи трудно было узнать в этом умирающем молодого придворного, которого он оставил полным жизни и веселости. Он велел осторожно положить его на траву, сам сделал перевязку и, поместив поперек лошади, отдал распоряжение потихонечку отвезти его в город.

В то время как он прощался с ним и помогал вывести лошадь из батареи, он заметил на открытом пространстве кучку всадников, которые рысью

подвигались между городом и мельницей. По всей видимости, это был отряд католической армии, хотевший отрезать им отступление. Мержи сейчас же побежал предупредить об этом Ла-Ну.

— Если вы соблаговолите доверить мне только десятка четыре стрелков, — сказал он, — я сейчас брошусь за плетень, что идет вдоль дороги, по которой они поедут, — прикажите меня повесить, если они живо не повернут оглобли!

— Отлично, мальчик! Из тебя выйдет хороший военачальник! Ну, вы! Идите за его благородием и делайте все, что он вам прикажет.

В одну минуту Мержи расположил своих стрелков вдоль плетня; он приказал им стать на одно колено, приготовиться и, главным образом, не стрелять раньше его команды.

Неприятельские всадники быстро приближались; уже отчетливо слышна была рысь их лошадей по грязной дороге.

— Начальник их, — сказал Мержи шепотом, — тот самый чудак с красным пером, по которому мы вчера промахнулись. Сегодня мы его уж не упустим!

Стрелок, что был у него справа, кивнул головой, как будто желал сказать, что он берет на себя это дело. Всадники были уже шагах в двадцати, не

более, и капитан их повернулся к своему отряду, по-видимому собираясь дать им какой-то приказ, как вдруг Мержи, неожиданно поднявшись, крикнул:

— Пли!

Начальник с красным пером повернул голову, и Мержи узнал своего брата. Он протянул руку к аркебузе своего соседа, чтобы отвернуть ее; но, раньше чем успел он ее коснуться, выстрел раздался. Всадники, удивленные этим неожиданным залпом, врассыпную бросились по полю; капитан Жорж упал, пронзенный двумя пулями.

XXVII. Лазарет

Father. Why are you so obstinate?
Pierre. Why you so troublesome, that a poor wretch
Cant die in peace? —
But you, like ravens, will be croaking round him.

Otway. Venice Preserved, I, 1

Монах. Зачем вы так упорны?
Пьер. Зачем вы не даете умереть
Спокойно бедняку,
Не каркая как вороны над ним?

Отвей. Спасенная Венеция, I, 1

Старинный монастырь, сначала конфискованный городским советом Ла-Рошели, во время осады был обращен в лазарет для раненых. Пол церкви, откуда убраны были скамейки, алтарь и все украшения, был покрыт сеном и соломой; туда переносили простых солдат. Трапезная была предназначена для офицеров и дворян. Это был довольно большой зал, обшитый старым дубом, с широкими сводчатыми окнами, дававшими достаточный свет для хирургических операций,

которые непрерывно здесь производились.

Сюда положили и капитана Жоржа, на матрац, красный от его крови и от крови стольких других несчастных, предшествовавших ему в этом месте скорби. Охапка соломы служила ему подушкой. С него только что сняли кирасу и разорвали камзол и рубашку. До пояса он был обнажен, но на правой руке еще оставались наручник и стальная рукавица. Солдат унимал кровь, текущую у него из ран, одной в живот, как раз ниже кирасы, другой легкой, в верхнюю часть левой руки. Мержи был так подавлен горем, что не в силах был оказать какую-либо существенную помощь. То плача на коленях перед братом, то катаясь по земле с криками отчаяния, он не переставал обвинять себя в том, что убил самого нежного брата и лучшего своего друга. Меж тем капитан сохранял спокойствие и старался умерить выражения отчаяния.

В двух шагах от его матраца находился другой, на котором покоился бедняга Бевиль, в столь же жалком состоянии. Черты его не выражали спокойной покорности, как черты капитана. От времени до времени он испускал глухие стоны и поворачивал глаза к соседу, как будто прося у того немного его мужества и твердости.

Человек лет приблизительно сорока, сухой,

тощий, лысый, весь в морщинах, вошел в зал и приблизился к капитану Жоржу, держа в руках зеленый мешок, из которого доносилось бренчание, очень страшное для бедных больных. То был мэтр Бризар, довольно ловкий для своего времени хирург, ученик и друг знаменитого Амбруаза Паре. Он только что произвел какую-то операцию, судя по тому, что рукава у него были засучены до локтей и спереди у него еще висел большой фартук, весь в крови.

— Чего вы от меня хотите и кто вы такой? — спросил у него Жорж.

— Я хирург, ваше благородие, и если имя мэтра де Бризара вам неизвестно, так вы многих вещей не знаете. Ну, запаситесь овечьей храбростью, как кто-то говорил. В аркебузных ранах я разбираюсь хорошо, слава Богу, и хотел бы я иметь столько мешков с золотом, сколько пуль я извлек из тела людей, которые теперь живут и здравствуют.

— Только, доктор, говорите мне правду! Рана смертельна, насколько я понимаю?

Хирург сначала осмотрел левую руку и проговорил: «Пустяки!» Потом принялся зондировать другую рану, от чего раненый стал делать ужасные гримасы. Правой своей рукой он даже довольно сильно отталкивал докторскую руку.

— К дьяволу! Не лезьте дальше, чертов лекарь! — воскликнул он. — По вашему лицу я вижу ясно, что моя песенка спета.

— Видите ли, сударь, я боюсь, что пуля сначала задела мускулы нижней части живота и, поднявшись, застряла в спинном хребте, именуемом иначе греческим словом *рахис.* Заставляет меня так думать то обстоятельство, что у вас отнялись и похолодели ноги. Этот патогномический признак редко обманывает, и в таком случае…

— Ружейный выстрел в упор и пуля в спинном хребте! Черт! Больше чем надо, доктор, чтобы отправить беднягу ad patres[56].

— Нет, он будет жить! Он будет жить! — закричал Мержи, уставясь блуждающими глазами на доктора и крепко схватив его за руку.

— Да, он будет жить еще час, может быть, два, — холодно ответил мэтр Бризар, — он человек здоровый.

Мержи снова упал на колени, схватил брата за руку, и поток слез оросил стальную перчатку, которая была на ней надета.

— Часа два? — переспросил Жорж. — Тем лучше: я боялся, что дольше придется мучиться.

---

[56] Примечания: 56
К праотцам, на тот свет *(лат.).*

— Нет, этого не может быть! — воскликнул, рыдая, Мержи. — Жорж, ты не умрешь! Брат не может умереть от руки брата!

— Полно, успокойся и не тряси меня. Каждое твое движение во мне отзывается. Теперь я не очень мучаюсь, только бы это не прекращалось… как говорил Зани, падая с высокой колокольни.

Мержи сел около матраца, положив голову на колени и закрыв лицо руками. Он был неподвижен и находился как бы в полудремоте; только время от времени по всему телу его пробегала судорожная дрожь, как приступ лихорадки, и стоны, не похожие на человеческие звуки, с трудом вырывались из его груди.

Хирург сделал кое-какую перевязку, чтобы только остановить кровь, и с полным хладнокровием вытирал свой зонд.

— Я вам советую сделать приготовления, — сказал он. — Если вам угодно пастора, их тут сколько угодно. Если же вы предпочитаете католического священника, то и такого вам найдут. Я только что видел какого-то монаха, которого наши взяли в плен. Да вон он там исповедует папистского офицера, который при смерти.

— Пускай мне дадут пить, — ответил капитан.

— От этого воздержитесь. Вы умрете на час

раньше.

— Час жизни не стоит стакана вина. Ну, прощайте, доктор. Вот рядом со мной человек с нетерпением вас дожидается.

— Кого же вам прислать: пастора или монаха?

— Ни того, ни другого!

— Как так?

— Оставьте меня в покое!

Хирург пожал плечами и подошел к Бевилю.

— Черт возьми! — воскликнул он. — Вот славная рана! Эти черти добровольцы бьют, как глухие.

— Я поправлюсь, не правда ли? — спросил раненый слабым голосом.

— Вздохните немного, — сказал мэтр Бризар.

Раздалось что-то вроде слабого свиста — его произвел воздух, вышедший из груди Бевиля через рану и рот одновременно, и кровь забила красной пеной.

Хирург присвистнул, словно подражая этому странному звуку, потом наскоро положил компресс, забрал свои инструменты и собирался уйти. Меж тем Бевиль блестящими, как два факела, глазами следил за всеми его движениями.

— Как же, доктор? — спросил он дрожащим голосом.

— Укладывайте ваши вещи в дорогу, — холодно ответил хирург. И удалился.

— Увы! Умереть таким молодым! — воскликнул несчастный Бевиль, роняя голову на охапку соломы, служившую ему изголовьем.

Капитан Жорж просил пить, но никто не хотел дать ему стакана воды из страха ускорить его конец — странное человеколюбие, служащее только для того, чтобы продлить страдание! В эту минуту в зал вошли Ла-Ну и капитан Дитрих в сопровождении других офицеров, чтобы посетить раненых. Все они остановились перед матрацем Жоржа, и Ла-Ну, опершись на рукоять своей шпаги, переводил поочередно с брата на брата свои глаза, в которых отражалось все волнение, испытываемое им при этом печальном зрелище.

Внимание Жоржа привлекла фляга, висевшая на боку у немецкого капитана.

— Капитан, — произнес он, — вы старый солдат?

— Да, старый солдат. От порохового дыма борода скорее седеет, чем от лет. Меня зовут капитан Дитрих Горнштейн.

— Скажите, что бы вы сделали, если бы были ранены, как я?

Капитан Дитрих с минуту посмотрел на его ра-

ны, как человек, привыкший их видеть и судить, насколько они тяжелы.

— Я привел бы в порядок свою совесть, — ответил он, — и попросил бы стакан доброго рейнвейна, если бы поблизости нашлась бутылка.

— Ну так вот, я у них прошу только их скверного ларошельского вина, и это дурачье не хочет мне его дать.

Дитрих отстегнул свою флягу, внушительной величины, и собирался передать ее раненому.

— Что вы делаете, капитан? — воскликнул какой-то стрелок. — Доктор сказал, что он сейчас же умрет, если выпьет чего-нибудь.

— Ну так что же? По крайней мере перед смертью он получит маленькое удовольствие! Получайте, молодчина! Очень жалею, что не могу вам предложить лучшего вина.

— Вы хороший человек, капитан Дитрих, — произнес Жорж, выпив вина. Потом, протягивая флягу своему соседу: — А ты, бедный мой Бевиль, хочешь последовать моему примеру?

Но Бевиль покачал головой, ничего не отвечая.

— Ах, — сказал Жорж, — еще мука! Неужели не дадут мне умереть спокойно? — Он увидел, что к нему приближается пастор с Библией под мышкой.

— Сын мой, — начал пастор, — раз вы сейчас…

— Довольно, довольно! Я знаю все, что вы мне скажете, но это потерянный труд! Я католик.

— Католик?! — воскликнул Бевиль. — Значит, ты не атеист?

— Но некогда, — продолжал пастор, — вы были воспитаны в законах реформатской религии; и в этот торжественный и страшный час, когда вам предстоит предстать перед высшим судьей поступков и совести…

— Я католик. Оставьте меня в покое!

— Но…

— Капитан Дитрих, не сжалитесь ли вы надо мной? Вы уже оказали мне одну услугу: я прошу вас оказать и другую. Сделайте так, чтобы я мог умереть без увещаний и иеремиад.

— Удалитесь, — сказал капитан пастору, — вы видите, что он не расположен выслушивать вас.

Ла-Ну подал знак монаху, который сейчас же подошел.

— Вот духовное лицо вашей веры, — обратился он к капитану Жоржу, — мы не имеем в виду стеснять свободу совести.

— Монах или пастор, пусть они убираются к черту! — ответил раненый.

Монах и пастор стояли по обе стороны постели

и, казалось, расположены были оспаривать один у другого умирающего.

— Его благородие — католик, — произнес монах.

— Но он родился протестантом, — возразил пастор, — он принадлежит мне.

— Но он обратился в католичество.

— Но умереть он желает в вере своих отцов.

— Исповедуйте свои грехи, сын мой.

— Прочтите символ веры, сын мой.

— Не правда ли, вы умрете как добрый католик…

— Удалите этого антихристова приспешника! — воскликнул пастор, чувствуя, что большинство присутствующих на его стороне.

Какой-то солдат из ревностных гугенотов сейчас же схватил монаха за веревочный пояс и оттащил его, крича:

— Вон отсюда, бритая макушка! Висельник! Уже давным-давно в Ла-Рошели не служат обеден!

— Остановитесь, — произнес Ла-Ну. — Если его благородие хочет исповедоваться, я даю свое слово, что никто в этом ему не воспрепятствует.

— Большое спасибо, господин Ла-Ну… — сказал умирающий слабым голосом.

— Вы все свидетели, — вступился монах, — он

хочет исповедоваться.

— Нет, черт бы меня побрал!

— Он возвращается к вере предков! — воскликнул пастор.

— Нет, тысяча чертей! Оба оставьте меня! Что же, я уже умер, что вороны дерутся из-за моего трупа? Я не хочу ни ваших обеден, ни ваших псалмов!

— Он богохульствует! — разом воскликнули служители враждующих культов.

— Однако нужно же во что-нибудь верить, — произнес капитан Дитрих с невозмутимой флегмой.

— Я верю… что вы славный человек и избавите меня от этих гарпий… Да, уходите и дайте мне умереть как собаке!

— Так и умирай как собака! — сказал пастор, с негодованием удаляясь. Монах сотворил крестное знамение и подошел к постели Бевиля.

Ла-Ну и Мержи остановили пастора.

— Сделайте последнюю попытку, — сказал Мержи. — Сжальтесь над ним, сжальтесь надо мной!

— Сударь, — обратился Ла-Ну к умирающему, — поверьте старому солдату: увещания человека, посвятившего себя Богу, могут смягчить последние минуты умирающего. Не следуйте

внушениям преступной суетности и не губите вашей души из-за пустой бравады.

— Сударь, — ответил капитан, — я не с сегодняшнего дня начал помышлять о смерти. Я не имею надобности в чьих бы то ни было увещаниях для того, чтобы подготовиться к ней. Я никогда не любил бравад и в данную минуту менее, чем когда бы то ни было, склонен к ним. Но, черт побери, мне нечего делать с их побасенками!

Пастор пожал плечами. Ла-Ну вздохнул, и оба медленно отошли, опустив голову.

— Товарищ, — начал Дитрих, — должно быть, вы чертовски мучаетесь, чтобы говорить такие слова.

— Да, капитан, я чертовски мучаюсь.

— Тогда, надеюсь, Господь Бог не оскорбится на ваши речи, которые ужасно похожи на богохульство. Но когда все тело прострелено, черт возьми, — позволительно для самоутешения и почертыхаться немного!

Жорж улыбнулся и снова приложился к фляжке.

— За ваше здоровье, капитан! Вы лучшая сиделка для раненого солдата. — С этими словами он протянул ему руку.

Капитан Дитрих пожал ее, выказав при этом

некоторое волнение.

— Teufel![57] — пробормотал он тихонько. — Однако, если бы брат мой Генниг был католиком и я бы ему всадил заряд в живот… Значит, вот как сбылось предсказание Милы!

— Жорж, товарищ мой, — произнес Бевиль жалобным голосом, — скажи же мне что-нибудь! Мы сейчас умрем; это ужасное мгновение! Думаешь ли ты теперь так же, как думал, когда обращал меня в атеизм?

— Без сомнения; мужайся — через несколько минут мы перестанем страдать.

— Но монах этот толкует мне об огне, о дьяволах… не знаю о чем… но мне кажется, что все это неутешительно.

— Глупости!

— А вдруг это правда?..

— Капитан, я оставляю вам в наследство свою кирасу и шпагу; я хотел бы что-нибудь получше вам предложить за это славное вино, которым вы меня так великодушно угостили.

— Жорж, друг мой, — снова начал Бевиль, — это будет ужасно, если правда все, что он говорит… вечность!

---

[57] Примечания: 57
Черт! *(нем.)*

— Трус!

— Ну да, трус… легко сказать! Будешь трусом, когда дело идет о вечных муках!

— Ну так исповедуйся!

— Пожалуйста, скажи мне: уверен ли ты, что ада нет?

— Вздор!

— Нет, ответь: вполне ли ты уверен в этом? Дай мне слово, что ада нет!

— Я ни в чем не уверен. Если дьявол существует, мы сейчас увидим, так ли он черен.

— Как? Ты не уверен в этом?

— Говорю тебе: исповедуйся!

— Но ты будешь смеяться надо мной?

Капитан не мог удержаться от улыбки; потом серьезно произнес:

— На твоем месте я бы исповедался — это всегда самое верное дело; и человек, которому отпустят грехи, которого помажут миррой, готов ко всяким случайностям.

— Ну хорошо, я сделаю, как сделаешь ты. Сначала ты исповедуйся.

— Нет.

— Ну… говори, что тебе угодно, а я умру добрым католиком. Пожалуйте, отец мой, заставьте меня

прочитать Confiteor[58] и подсказывайте мне, а то я несколько позабыл молитвы.

Пока он исповедовался, капитан Жорж еще пропустил глоток вина, потом положил голову на свое жалкое изголовье и закрыл глаза. Он лежал спокойно около четверти часа. Потом он сжал губы и задрожал, испустив стон, исторгнутый болью. Мержи, думая, что он умирает, громко вскрикнул и приподнял ему голову. Капитан сейчас же снова открыл глаза.

— Опять?! — произнес он, слегка отталкивая брата. — Прошу тебя, Бернар, успокойся!

— Жорж, Жорж! И ты умираешь от моей руки!

— Что же делать? Я не первый из французов, убитый братом… полагаю, что и не последний. Винить в этом я должен только самого себя… Когда брат короля освободил меня из тюрьмы и взял с собой, я дал себе слово не обнажать шпаги… Но когда я узнал, что этот бедняга Бевиль подвергся нападению… когда я услышал звук залпов, я захотел поближе посмотреть, в чем дело.

Он опять закрыл глаза и тотчас же, открыв их, сказал Мержи:

— Госпожа де Тюржи поручила мне передать

---

[58] Примечания: 58

«Исповедаюсь» (*лат.*) — католическая молитва, начинающая обряд исповеди. — *Примеч. пер.*

тебе, что она продолжает тебя любить.

Он кротко улыбнулся.

Это были его последние слова. Умер он через четверть часа, по-видимому без больших страданий. Через несколько минут испустил дыхание Бевиль на руках монаха, который потом уверял, что в воздухе он отчетливо слышал радостные клики ангелов, принявших душу этого раскаявшегося грешника, меж тем как из-под земли на это отвечал торжествующий вой дьяволов, уносивших душу капитана Жоржа.

Во всех историях Франции можно прочесть о том, как Ла-Ну покинул Ла-Рошель, полный отвращения к гражданской войне и мучимый угрызениями совести, не позволявшей ему сражаться против своего короля; как католическая армия принуждена была снять осаду и как заключен был четвертый мир, вскоре после которого последовала смерть Карла IX.

Утешился ли Мержи? Завела ли Диана другого любовника? Предоставляю решить это читателю, который таким образом сможет закончить роман по своему вкусу.

1829